

*Все, что память сберечь мне старается,
Пропадает в безумных годах...*

Александр Блок

НА ХОЛМАХ ЗРЕЛЫХ ЛЕТ (1963–1993)

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Кавказ — незабываемая и перечитываемая глава из книги моей жизни. Короткая по времени, существенная по увиденному, пережитому, осмысленному.

Для своего учительствования я избрал **Валерик** — чеченское селение вблизи от **Грозного** и в десятке верст от Кавказских гор. Именно селение Валерик: Лермонтов «подсказал» мне его своим одноименным стихотворением («Как месту этому названье? Он отвечал мне: *Валерик...*»).

Горячее солнце, горская речь, краснокирпичная двухэтажная школа у пенистой речушки, за околицею — персиковый сад, кизиловая рощица, алыча; как врубелевские лиловоцветы, дымились Кавказские отроги. Я не без волнения ехал в этот Богом благодетельствованный край. Для меня он был краем романтики, краем, воспетым гением Пушкина и Лермонтова.

А Кавказ — «кровавый рубец империи»; об этом я по-настоящему, серьезно узнаю и задумаюсь позже.

Выпускников Воронежского педагогического — меня и моих друзей-товарищей — Валерик встретил длинными улицами, изрезанными глубокими канавами, через которые надо было переходить по хлипким мосткам, а то и просто их перепрыгивать (в селении уже который месяц прокладывали водопровод — ни шатко ни валко, как часто бывает); недолго думая, я написал нечто вроде фельетона, короткого, без художеств, и по дороге в Грозный завез материал в редакцию Урус-Мартановской районной газеты. Он был без проволочек напечатан, а когда я вернулся из Грозного, в Валерике, что называется, кипела строительная страда: откуда-то взялись бульдозеры, скреперы, грузовики, которые то прорывали новые каналы, то засыпали старые, то вывозили грунт за околицу. Месяца через полтора в водопроводных колонках появилась вода, а почитаемые старики-чеченцы даже не без торжественности благодарили автора скороспешных, но по делу успешных строк.

Преподаю литературу, русский и немецкий языки в десятом и одиннадцатом классах. В пятых — русский и историю. Со мною мои друзья-сокурсники: Борис Соколов, Иван Скогарев. Поселились на квартирах близ речушки, наши хозяйки — Хамат и Халипат.

В середине сентября выступал со стихами перед творческой молодежью Грозного. Первое знакомство с местной литературной молодой средой. «ТОМ» — творческое объединение молодых. Название — удачное: ТОМ и книжный том фонетически звучат одинаково. Некий Цезарь Голодный (удалое сочетание!), сын поэта Голодного, известного мне по песне о матросе Железняке, разгонщике Учредительного собрания, который в степи под Херсоном пал и «лежит под курганом, овеванный славой». Видно было, что этот Цезарь как ведущий тянулся сократить чтение моих стихов не потому, что они были непривычны, иные — чуть модернистские, а потому что они были из провинции: для подобных «цезарей» что Воронеж, что Грозный — провинция захолустная.

Вскоре после этих моих стихотворных смотрин поэт, большой годами, знаниями, просветительской деятельностью, Ростислав Подунов прислал в Валерик на мой адрес обстоятельное письмо, где были такие строки: «Витя!.. Ты талантлив, ты качественно отличен от большинства, твои стихи отрицают этот... серый мир, они для него смертельны. Поэтому не жди правды о себе и не жди аплодисментов... Твои стихи меня ошеломили; тот вечер и весь следующий день я жил под впечатлением услышанного. Мне хотелось перечитать их, внимательно в них разобраться, и хотелось продолжения, ведь у тебя там еще оставалась целая кипа. Если бы наутро не госэкзамен, я бы так в тот вечер тебя не отпустил...»

Если где-то и требуется мое покаяние в отношениях с друзьями, то именно здесь. Ростислав Подунов воспринял меня не просто как талантливого, по его взгляду, поэта, но как младшего товарища, друга, брата, с которым должно идти рука об руку, даже если мы вдали друг от друга. Он рассказал мне о своей предыдущей жизни, о своих друзьях Анатолии Передрееве, Леониде Черном, Султане Юсупове, он посвящал мне поэтические строки, писал большие глубокие письма, на которые я подчас отвечал просто отписками, он приезжал ко мне в гости в Воронеж, пытался вывести меня на московские литкружки, которые тогда меня мало занимали. В сердцах он называл меня человеком, который слышит только самого себя и глух, как Бетховен. Разумеется, это было не совсем так, но сколь же и вправду бывал я беспечно-невнимателен к его вниманию; когда мы встретились с ним в Грозном в 1987 году, он, образованнейший, социально чуткий человек вдруг попал под оболщение таких, как тогдашний

«демократ-патриот» Ельцин. Встреча выдалась короткой, и более мы с ним не виделись, следы его потерялись, и мне было больно и грустно, что все обернулось так. А он как друг был самый значительный, бескорыстный, прямодушный. И теперь... Пошли ему Боже долгую жизнь!.. Знать бы, где он теперь — я бы, не глядя на хвори и болезни, поспешил бы его навестить, может, чем помочь, и, может, в долгом разговоре заново прожить пройденные порознь пути.

На одном из выступлений в ТОМе — чтение рассказа Султана Юсупова «Гора»: истории о выселении народа в чужие края и о верховной власти в виде каменной горы, которая препятствует прямому пути. Наше доброе знакомство, высокая оценка им моей «Чечни вечерней».

Расхваливают мои напечатанные и ненапечатанные строки и разнонациональные молоденькие поэтессы, наивные и в собственных стихах, и в похвалах в мой адрес. Однажды юную польку, какими-то судьбами залетевшую от Вислы на Терек, на мосту через Сунжу (после очередного ТОМа) я долго убеждал погасить увлеченность мною; и зачем только было слышать юному одаренному существу, да и этому влажному краю в его биологической растительной или иной неудержимости, мои отвеченные сентенции о некоем высшем воздержании?!

Остается час до начала нового 1964 года. Валерик, Прекавказье, недалекий Казбек. В синей комнатке, в доме под акациями, у самого берега речушки читаю дневник Достоевского (приобретенное в Ростове, в букинистическом посмертном собрании Сочинений). Местные удалцы палят из ружей. Миллионы людей в ожидании новогоднего тоста. Приближается всемирное гулянье, огнесверкающая, всеми страстями избыточная ночь.

А как же те, которые расстреляны и задушены в концлагерях, где бы последние ни находились? Которые встали в правые атаки, упали под пулями и осколками и больше не поднялись? А как же те, которые сейчас гибнут на больших дорогах и бездорожьях, на рудниках и в больницах, на суше и в море, на вдруг темно-черных проулках городов и деревень?

Мир поднимает новогодний тост!

За несколько часов всемирно-праздничной ночи на одном дыхании, словно под диктовку неслышимого голоса случилась моя поэма «Лабиринт»; чуть позже — поэма «Александр Магросов».

Начало нового, 1964 года — благодатное: гостевое. Сначала в Валерик приезжают Ростислав Подунов и Султан Юсупов, и мы весь день проводим за разговорами под редкие тосты с бокалами «Наурского» — местного сухого вина, — перебираем события, имена знакомых и незнакомых, касаемся судеб народов и стран и чувствуем себя близкими, родными — двое русских и чеченец. К нам подсоединяется Салауди — младший брат хозяйки Халипат, малоразговорчивый и малообразованный, но любитель не только выпить, а и закусить... салом, которого мне троюродная старшая сестра, не зная про здешнее предубеждение против свинины, прислала подряд две посылки. Тем же днем, после отъезда грозненцев, Салауди о чем-то заспорил с учителем-чеченцем, и — думаю, редкий и забавный штрих, — мне, русскому, пришлось разнимать дерущихся чеченцев.

Вскоре и отец нашел время и силы навестить меня. Прошлись с ним по главной улице селения, побывали у одноименной речки, заглянули в школу. На другой день Абдулла Магомадович Арсанукаев побывал в гостях в моей комнатке у хозяйки Халипат: директор расспрашивал, а отец много рассказывал о войне, о штурме Берлина, о своем батальоне, в котором воевали несколько чеченцев — и воевали отважно, а чеченец Балет, лейтенант, стал на исходе войны близким другом отцу.

В феврале приезжает Элла. Регистрация брака в поселенческом совете. Скромность обстановки. Но душевное состояние единое — хорошее и ответственное. Конечно, не старинное венчание, но все же... Свидетельство о браке — на двух языках. Так и не привыкну читать чеченские слова — на кириллице. После регистрации — застолье, праздничное поздравление местного учительства.

Гостевание короткое — менее недели.

Весенний, цветущий персиками, айвой, алычой Валерик. Цветущий Северный Кавказ. И вдруг подумаешь: жить бы людям во благе, но сколько в прошлом, даже недавнем прошлом, розни между людьми. От розни до резни. Даже близкие близких не понимают.

(Летом — как бы повторенная свадьба — в Криничном. Множество гостей, приехали родственники из Воронежа, Павловска, Нижнего Карабута. Собранные с соседних огородов алые, красные, белые маки на свадьбе — в кувшинах, вазах, стеклянных банках, ведрах, больших бутылках. Весь двор уставлен ими. У ворот всех проходящих угощали красным вином, и поздравлений было — на дюжину свадеб. Зина тоже оказалась среди нечаянно встреченных: улыбочиво и памятно тоже поздравила маками — замужняя, неудачно замужняя. Маки, маки... Неясная тревога, словно уже виделась наркотическая явь-беда родной страны.)

Не только со стихами, но и со статьями педагогической направленности (об учителях и их общественно-просветительской работе среди жителей Валерика) выступал я не раз и в местной, и в центральной периодике. Из Валерика слал статьи в «Учительскую» и другие столичные газеты, и их, на удивленье, без особых затяжек печатали. Первый мой материал, опубликованный «Учительской газетой», и назывался соответственно — «Школа идет к людям».

И о кавказских горах сказал как-то: они до Бога самого, быть может, достигают... Любовался ими, но из самого этого любования подчас вырастала во мне тоска по моей срединной полевой России. Учительские хождения в горы. «Раз — это было под Гихами, мы проходили темный лес». Празднование по завершении школьных занятий в предгорных окрестностях **Гихи**: речка чистая, лес густой, пышноцветная поляна, веселые учителя, секретарь райкома — чеченец, человек образованный и, чувствуется, превратностями жизни не обремененный.

Приезд Эллы, ее учительствование в Валерикской десятилетке (преподавание химии), пятиклассники шаловливые, озорные, любопытствующие; пятиклассницы — как птицы с пронзительно-черными, сияющими глазами; они, отроковицы, — в преддверии юности, им интересно щебетать с нами и после уроков, может, они чувствуют в нас устроителей — пусть для них и чуждедальней — семьи-судьбы, а для чеченской девушки семья — главное в жизни...

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Сентябрь 1964 года. Поездка в ГДР. Трудно понять мир из окна вагона, просто — и в коротком огляде, когда уже на чужой земле — на восточногерманской. **Берлин**. Ты бы, конечно, хотел посетить и видеть только Пергамон — музей Пергамского алтаря, Берлинский университет, пусть также и Бранденбургские воро-

та. Но этот, близкий от Бранденбургских ворот, в развалинах, дом-бункер имперской рейхсканцелярии, которую штурмовал твой отец со своей трагически (на последних днях войны) изреженной здесь ротой, — ты его должен видеть, пусть и уходящий на семь этажей в подземелье, — гитлеровский бункер, может, незримо грозящий оттуда снова?! Как и, конечно, должен видеть и увидел Трептов-парк. Сохранится ли он надолго, этот величавый памятник с мечом, разрубающим свастику, и спасенной девочкой на руках?

(Но в пору той поездки мне и в голову не могло прийти то, о чем позже часто и много размышлял — особенно в годы работы над историко-документальным повествованием о великом русском военном мыслителе, геополитике, ученом Андрее Евгеньевиче Снесареве, который был убежден, что сам вековой ход событий нацеливал Россию и Германию на союз и что будучи союзниками они были бы непобедимы. Еще задолго до Первой мировой войны он видел (и справедливо) ближайшее будущее России именно в соединенном движении двух европейских континентальных стран или, на крайний случай, в русском нейтралитете. Но разрушительные либеральные силы в Петербурге вовсе не желали союза двух империй, ими эгоистично поддерживался курс на предопределенно невозможную взаимодружбу со «свободной» Антантой. Континент так и не выступил как Континент против Океана, и уже Первая мировая война обернулась великими жертвами как для России, так и для Германии.)

В КОСМОСЕ И НА ЗЕМЛЕ

«12 октября 1964 года, в 10 часов 30 минут по московскому времени, в Советском Союзе на орбиту спутника Земли новой мощной ракетой-носителем впервые в мире выведен трехместный пилотируемый космический корабль “Восход”», — такими словами открывалось сообщение ТАСС, воронежцев особенно обрадовавшее: среди троих космонавтов был и уроженец Воронежа Константин Петрович Феоктистов. И уже после — Герой Советского Союза, доктор технических наук, лауреат Ленинской и Государственной премий, Почетный гражданин Воронежа; после — мемориальные доски, школа и улица его имени в родном городе, именной кратер на Луне... А тогда, когда космический корабль облетал Землю, и еще неизвестно было, успешно ли завершится полет и приземление, он, быть может, думал не столько о будущем, сколько о прошлом, когда он учился во второй железнодорожной школе рядом с Воронежским педагогическим институтом, когда в войну он, юный разведчик, попал в плен и в родном городе едва не погиб, приговоренный фашистами к расстрелу (рана оказалась не смертельной).

Через сутки космический корабль приземлился. А еще через сутки, 14 октября 1964 года, — извещение об уходе Хрущева на пенсию по состоянию здоровья, а это означает снятие с высшего поста «волюнтариста», как скоро напишут. Тоже страница истории. К сожалению и к радости вперемешку — истории отечественной. Широкие реабилитации и послабления недорученному крестьянскому миру — все это начато государственным Маленковым, а не первопартийцем Хрущевым. Но по-доброму вспомнилось признательное отношение первого секретаря к глубинно русскому писателю XX века. Шолохов был в чести у Хрущева. В 1958 году приглашенный в шумную поездку первого секретаря бригадой по заатлантической успешной стране, он не написал ни строки о той разрекламированной — «Лицом к лицу с Америкой» — поездке.

ОТКРЫТИЕ ЛЕРМОНТОВСКОЙ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ

В день столетия Лермонтова (настоящий праздник!) мне выпала честь открывать мемориальную доску на здании Валерикской школы. Сказал, что для многих в ранней юности душевная, эмоциональная, духовная, художественная жизнь начинается при прочтении лермонтовских поэтических строк, далее мы в своей жизни встречаем много новых имен, увлекаемся ими, спорим с ними, кого-то находим, кого-то теряем, заблуждаемся, прозреваем, и однажды, прозревшие и повзрослевшие, вновь возвращаемся к Лермонтову...

Если на первом курсе писал курсовую по донским слободским песням, то через три года моя курсовая — поэма «Демон». Или — в предчувствии Кавказа?

КИЗИЛОВАЯ РОЩА

Наша «семейная» двухкомнатная квартира — через дорогу, напротив школы. Пятиклассницы нередко веселой стайкой поджидают нас с Эллой у калитки, готовые помочь, подсказать, показать незнакомые уголки.

После занятий остаются свободные часы, и мы занимаем их прогулками как по Валерику, так и по его окрестностям. Однажды пошли нарвать кизила в не столь близкую кизилковую рощу. Ягода выдалась крупной, крепкой, и мы за каких-нибудь полчаса набрали больше половины корзинок. И уже собрались было уходить, как неожиданно, словно из-под земли, выросли перед нами пятеро бородатых мужчин, на первый взгляд, разбойного вида. Понятно, что именно почувствовали мы, молодые и чужие для пришедших. Ожидая худшего, я тихо велел Элле стать спиной к моей спине... Первыми поздоровались они, и мы с поспешной готовностью откликнулись. Через четверть часа бородачи... заполнили кизилом наши корзинки доверху: они оказались заочными знакомцами, отцами тех валерикских ребят и девочек, для которых мы были учителями и воспитателями. В Валерик мы возвращались вместе.

Надо сказать, что нигде — ни в Грозном, ни в Урус-Мартане, ни в **Ачхой-Мартане**, ни в Валерике, — нигде не встречал я косоного взгляда местных; хотя не раз бывали споры, особенно с молодыми представителями интеллигентски-верхушечного сообщества, но до «кинжала» никогда не доходило. Правда, на Ермолове никогда не сходились. В Орле, да и в общерусском историческом знании, он герой Бородинского поля, в Грозном он суровый разоритель здешних мест. И дореволюционный памятник ему — не на главной улице, а задвинут подальше в глубине заброшенного двора на одной из сторонних улочек...

Осенью 1964 года мы с Эллой вынужденно уезжаем в Воронеж, учителя грустно и искренне провожают нас — вина море разлитое, шашлыки, песни на чеченском и русском.

(Ностальгический взгляд через годы. Нередко вспоминаются Кавказ, Валерик, учительствование. И прежде всего с благодарностью вспоминаю, что у местных к приезжим учителям не было недоброго чувства, неприязни, хотя они незадолго перед тем вернулись из казахской степи — из ссылки. Жили мы дружно. Русские, чеченские учителя были заодно в своих взглядах на учительство и жизнь, никто, как говорится, камня за пазухой не держал.

Моя ученица, умненькая и красивая, с прекрасными большими пытливыми глазами девочка-пятиклассница Асет Ульбиева, став учительницей, создала со временем в родном селении литературный музей, большую экспозицию произве-

дени и русских, и чеченских писателей — по преимуществу тех, кто писал о Валерике, о Кавказе.

А еще в грозненском «Комсомольском племени» в феврале шестьдесят четвертого была опубликована моя поэма «Александр Матросов», о которой много говорили в кругу тамошней литературной общественности. Поэма была даже обсуждена на бюро Грозненского обкома комсомола как... «упадочническая», идеологически не выдержанная и формалистическая. Правда, вскоре она была напечатана в грозненском поэтическом сборнике. Это была моя первая публикация в книге, но радости она не доставила: вышла без авторских правок, да еще с небрежными редакционными вмешательствами. Эту поэму года через три я переработал, а много позже она была опубликована в сборнике ранних стихов «Тревожный глобус».)

УГРЮМЫЙ ПРИЗРАК ВОЙНЫ

Двадцатилетие Победы. Десятилетие не отмечалось вовсе: сказались международные политические холода, властные внутрикремлевские распри, да и страна еще не отошла от войны, развалины были приметамы многих городов захваченных врагом территорий. Но 9 мая 1965 года День Победы вылился в праздник все-народный. И город выплеснул на улицы десятки тысяч воронежцев, и многие оказались участниками войны, и столько на них было орденов, медалей, почетных воинских знаков, что их можно было хватить на самый большой в мире зал Славы.

Город уже полностью восстановлен, и только «Ротонда» возвышается как угрюмый, горестный призрак войны.

НАПРАВЛЕНИЕ В ЖУРНАЛИСТСКИЙ КОРПУС

По коротенькому рекомендательному письму я попал на прием к работавшему в идеологическом отделе обкома Михаилу Алексеевичу Грибанову. (Позже он станет первым заместителем министра культуры СССР, а уже в пенсионные дни, прочитав мои «Времена и дороги», «Великий Дон», «Воронеж-град», напишет: «Спасибо Вам за прекрасные книги, которые явили мне большого мастера, не стандартного в прозе и поэзии, который крупно и убедительно раскрыл суть Традиции, имена классиков. Меня очень обрадовало то, что вы один из немногих, кто столь органично «воссоединил науку и искусство»...) Он принял меня доброжелательно, быстро навел справки, пригласил завсектором печати Георгия Федотовича Струкова, который задал мне пару вопросов, и через полчаса я получил направление в «Новатор» — газету «Ящичка 71», нормальными словами говоря — в редакцию многотиражки авиационного завода.

СКОЛЬКО САМОЛЕТОВ В «ЯЩИКЕ 71»?

В студенчестве праздничными днями с уреза Петровского сквера любил я вглядываться в Левобережье, где территориально и высотно выделялись корпуса Воронежского авиационного завода, который по принятой тогда «конспирации» имел еще одно название — «Ящик 71». Разумеется, тогда и не подозревал, что в летние месяцы 1965 года на этом заводе мне выпадет быть сотрудником заводской многотиражки «Новатор», и здесь впервые по-настоящему почувствовать и силу державы, и силу рабочего класса, когда по утрам через проходные тянулся непрерывный людской поток, казалось, неиссякаемый. Более тридцати тысяч народу, — и какого! — целые рабочие династии: от отца к сыну, от деда к внуку передавались тонкости мастерства токарей, слесарей, клепальщиков, сборщиков. У завода имелась своя

взлетная полоса и самолеты ежегодно поднимают десятки самолетов разных марок — воронежские комсомолеты. И военные, и мирные, пассажирские.

(А напомним о годах военных на исходе улицы Циолковского, на площади у проходной авиационного завода в 1979 году на бетонный постамент установят грозный в фронтовые дни штурмовик ИЛ-2, готовый, кажется, взлететь, если небу над Воронежем потребуется его защита. Этот штурмовик имеет прямое отношение к моему роду: на таком в годы войны совершил сто пять боевых вылетов мой старший прокурорный брат, на таком сражался и погиб дядя моей жены.)

Скорее всего, именно памятью движимый, я направился сначала не в редакцию, а на площадку, словно уже видя поднятый над землей штурмовик. Я мысленно видел сотни их — летевших на запад бомбить вражеские аэродромы, нефтебазы, железнодорожные эшелоны, танковые колонны... Но — двадцать лет, как закончилась Великая война, на небе не было ни единого облачка, а меня в утренний час ждал редактор заводской газеты.

«Новатор» — одна из самых крупных заводских многотиражек, а сам завод — государство в государстве (рабочие династии, техникум, профтехучилище, детсад, парк, Дворец культуры, шефство над школами и колхозами).

«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

Узнавание: за три месяца я исходил все цеха и службы, внутренние дворы меж цехами. Перезнакомился с почетными и рядовыми тружениками. Вольно-невольно начиная колесить по заданно-известному кругу, понимал, что мое пребывание здесь не может быть затяжным. К осени после двух публикаций я был приглашен для разговора с редколлегией «Молодого коммунара» и охотно дал согласие стать сотрудником областной газеты.

(Но связь с заводом, с «Новатором» никогда не прерывал. В альбоме «Воронеж и воронежцы», который я редактировал и снабдил фотоснимки подтекстовками, — фотография: удивительной силы и красоты ТУ-144 с автографом главного конструктора воронежским авиастроителем.)

А в 2010 году редактор «Коммуны» Виталий Жихарев обратился ко мне (как «стоятелю за память и памятники») с просьбой написать воззвание к областной власти о памятнике Андрею Соколову — герою шолоховского рассказа «Судьба человека», воронежцу, который до войны работал на местном авиационном заводе. В обращении прозвучали такие строки:

«Наш донской черноземный воронежский край именит не только выдающимися писателями, поэтами, художниками, учеными, которые составляют гордость отечественной и мировой культуры, искусства, науки. Он богат также литературными героями — героями тех произведений, которые вошли в сокровищницу отечественной литературы. Как живые встают перед нами кольцовский косарь, никитинская Русь, платоновский житель родного города, корабленовский юный художник Васятка Ельшин. Наконец, есть еще один литературный герой — из предвоенного, военного и послевоенного времени.

Речь — о герое шолоховского рассказа «Судьба человека» Андрее Соколове, «уроженце» Воронежской губернии, «природном воронежце» (слово «Воронеж» не раз звучит в рассказе)...

Семья и Родина — святыне понятия для шолоховского героя. Этим он жил. И вполне естествен его порыв — усыновить оставшегося без отца-матери, мыкающегося по земле мальчонку. Горестным и отзывчивым сердцем он воспринял Ванятку как росток непогибающей русской семейственности, как продолжение родины, ибо семьей крепки и человек, и страна.

В том, что образ Андрея Соколова — воронежский, есть своя логика, свой смысл, своя корневая крепь. Великий писатель и в других произведениях, прежде всего, в «Тихом Доне» не раз упоминает Воронеж. Область войска Донского и Воронежская губерния — граничащие, и Шолохов не только десятки раз проезжал нашу область, он учился в Богучарской гимназии, он знал наш край, у него здесь были друзья; наш земляк Василий Песков написал о нем, о станице Вешенской, о Доне замечательный очерк, вошедший в книгу «Отечество», переведенную на многие языки мира. Дон един, народ един — Дон родственно связывает воронежское Черноземье с шолоховским краем — казачьим, станичным. Понятно, что и фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека» наиболее органично мог быть снят и был снят на донской воронежской земле...

В мировой мемориальной практике есть традиция увековечивать литературных героев. Думается, настало время увековечить в нашем городе и героя рассказа «Судьба человека». Памятник такой не только уместен, но необходим. Здесь, прежде всего, надо сказать, что «Судьба человека» — это первое в советской литературе произведение, героем которого выступает солдат, оказавшийся в плену (а официальное отношение к попавшим в плен тогда было резко негативным). Испытавший немецкого плена Андрей Соколов показан во весь рост, глубоко правдиво и широко, он являет силу духа русского человека...

Памятник Андрею Соколову необходим всем нам — и старым, и молодым, всем воронежцам и его гостям. Он может стать уголком памяти — памяти о подвиге нашего народа да в годы Великой Отечественной войны, местом встреч ветеранов вооруженных конфликтов разных времен, уголком милосердия, прощения, прощания...

Надеемся, — призывало письмо, которое подписали многие известные люди Воронежского края, — что администрации города и области поддержат доброе и справедливое начинание газеты «Коммуна» — идею увековечения шолоховского литературного героя Андрея Соколова, идею, которая уже находит широкое одобрение воронежцев и жителей области...»)

К 75-летию Великой Победы на Осетровском плацдарме в Верхнемамонском районе был возведен мемориальный комплекс. Отведено там место и для памятника Андрею Соколову, на который областная администрация уже объявила конкурс. Значит, и наше писательское слово пришлось в строку.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — НА ГЛАВНОЙ ГОРОДСКОЙ УЛИЦЕ

Начало сентября 1965 года. Перевод из заводского «Новатора» в областной «Молодой коммунар». Редакция газеты — на главной городской улице, в Доме книги — занимает весь пятый этаж: лестничная клетка разделяет кабинет редактора и рабочие комнаты сотрудников.

(И прежде «Молодой коммунар» располагался на центральном проспекте и был хорошим изданием с талантливыми сотрудниками — они шли волнами. Лишь в восьмидесятые годы газета обосновалась в Доме печати, на окраинной улице, позже — еще одно переселение; и — неизменная младокоммунарская страда с ее освещением живой жизни, с ее буднями, тревогами и надеждами, пока во времена недавнего губернатора его подчиненные в лице некоего залетного спеца Сахарова не повели наступление на областную и районную прессу, реформировав ее так, что газеты превратились в аморфные издания, а «Молодой коммунар» был и вовсе закрыт...

Из окон во весь пролет просматривалась главная улица со старинными зда-

ниями, иные из которых являлись выразительными памятниками былого. Мне в редакции и выпало, помимо текущего, социального, военно-патриотического, заниматься памятниками истории, культуры, природы. На этой просветительской стезе были свои трудности. Помню, как настороженно, даже враждебно властями воспринимались статьи об охране памятников истории и культуры, о недопустимости переноса могил Кольцова и Никитина, об увековечении имен достойных, но не вписанных в идеологически поощряемые святцы. Каких-нибудь полсотни строк написал я о желанном музее Дурова, дескать, нужен Воронежу такой заново благоустроенный уголок родной культуры. Пришлось объясняться в обиходе, где на верхних этажах музей славного циркового артиста считали неуместно-преждевременным. Но через скорое время те же власти — как бы от себя — выдвинули идею создания такого музея, и колесо закрутилось. Выходило, что вроде бы и не коммунаровская пальма первенства? Не беда! Нам, журналистам, главное было, чтобы хорошел город и прирастал музеями, памятниками, мемориальными досками.)

ЖЕЛАННЫЕ ПЯТИЭТАЖКИ

Тогда по всей стране возводились пятиэтажки... Отдав немислимые силы победе в тяжелейшей отечественной войне, военному комплексу, освоению космоса, страна взялась подумать и о человеке, который, себе часто во всем отказывая, поднял Отечество на уровень могучих. Строительство пятиэтажных жилых зданий, прозванных в народе хрущевками, а праздными остроловцами — «хрущобами», — это большая страница в книге жизни и страны, и нашего города. Рушились многочисленные бараки. Переселяясь в желанные пятиэтажки, люди были рады любому этажу, и нигде на первых этажах не было решеток, которыми позже будут отгораживаться от улицы, от воровства и разорительства не только офисы, но и квартиры. Пятиэтажки возводились по всему городу, вырос даже целый микрорайон — Юго-Западный...

Неподалеку от механического завода была выделена квартира Эллиной маме и Элле, дочери офицера, погибшего в Великой Отечественной войне; туда перебралась мать с детьми-подростками Валерой и Лидой и Элиным отчимом (тоже воевавшим — на сопках Маньчжурии сорок пятого — Григорием Тимофеевичем Капиным), а мы остались в старом краснокирпичном доме по улице 20-летия Октября, у инженерно-строительного института, и с радостью кинулись прихорашивать семейное гнездо в угловой квартире на четвертом, верхнем этаже...

ДЕНЬ НА РОДИНЕ ТОЛСТОГО

Журналистская страда — это непрерывная череда командировок. В «Молодом коммунаре» мне довелось побывать в самых знаковых местах нашей Отчизны, писать о них, о людях, берегающих для потомков бесценные сокровища нашей истории. Я счастлив, что прикоснулся сердцем ко всему этому...

Ясная Поляна. Величавая поляна отечественной культуры. При взгляде на усадьбу вспомнились слова Льва Николаевича Толстого: «Без своей Ясной Поляны я трудно могу представить себе Россию и мое отношение к ней...» Эти слова были мне весомой поддержкой для задуманного еще до прихода в «Молодой коммунаре» цикла эссе о воронежских усадьбах, памятниках старины под рубриками «Памятные уголки Черноземного края», «Не за синими морями», «Памятные места Родины», «Там, где мы бывали». И даже именная рубрика — «Хоть и не Ясная Поляна»...

Знакомство с Петей Чалым, земляком однорайонным (калитвянским), моло-

же меня. Мы много проговорили и на природе, и в гостинице за бутылкой сухого вина, и он был как чистое дитя, деревенский паренек, не только обстоятельно прочитавший русскую классическую литературу, но и интуитивно понимавший ее значение, и это меня особенно порадовало, и я его принял в сердце...

ПЕРВАЯ НА КОНТИНЕНТЕ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ

Нововоронежская атомная станция. Столичные и местные журналисты в первые годы охотно посещали АЭС: первая в стране, крупнейшая на евразийском континенте.

В апреле 1966 года выехала туда и коммунаровская бригада: заместитель редактора, писатель-сатирик Евгений Дубровин, художник Василий Криворучко, фотокорреспондент Анатолий Костин, журналисты Вячеслав Ситников, Виктор Кожин и я. Мы усердно собирали материал по всему городу. Встретились с первыми лицами, с рабочими, побывали на главном пульте, естественно, заглянули в самую бездну станции — в жерло реактора; он выглядел мирно, а таящаяся в нем невидимая угроза не казалась реальной.

И все бы ничего, но наши сопровождающие в шутку-всерьез стали уверять нас, что застраховаться от тающего незримую опасность реактора можно рюмкой-другой водки. Тут и повар местной столовой подоспел — оказался большой дока, он вроде бы в войну был главным кашеваром у маршала Жукова; балагуристый, похватистый, он нам приготовил отменную, из донского сазана уху, и под нее горькая так хорошо пошла, что мы словно забыли, зачем сюда приехали.

Вечером нам предстояло выступить в Доме культуры, странно было видеть свою фамилию на большом пригласительном полотне у фасадной двери. То было время массового интереса к писательскому, журналистскому слову, к самим писателям и журналистам, к их умению или неумению держаться в обществе и на сцене. Но подняться на местную сцену не выпало: голова раскалывалась, мы с художником Василием Павловичем Криворучко остались в гостинице.

(В гостиничном номере Василий Павлович легко, несколькими сильными линиями, в стиле Модильяни, тушью набросал мой портрет, который не раз публиковался в книгах моих и обо мне.

Специальный, посвященный Нововоронежской атомной станции выпуск «Молодого коммунара», — печально-удивительное! — вышел месяц в месяц за двадцать лет до катастрофы на Чернобыльской атомной станции.)

ИГРЫ И СТРОКИ «МОЛОДОГО КОММУНАРА»

На примыкающем к городскому парку стадионе «Динамо» — футбольный матч «Коммуны» и «Молодого коммунара». Разгромный, сухой счет — побеждает молодость. Побеждает она и на газетной полосе: у «Молодого коммунара» широкая читательская аудитория, среди «молодежек» — третий в стране тираж (после «Московского комсомольца» и «Смены», молодежной газеты города на Неве)...

Июль, **Острогжск**, домик Крамского, раздумья о художнике, его ранней внезапной смерти у рисуемой картины; через полмесяца в «Молодом коммунаре» — публицистическая статья «К имени его возвращаясь»: о сбережении домика и памяти о большом и честном художнике; ею открывалась еще студенческих времен моя сердечная мысль: рассказать о сокровенных уголках и достойных именах родного края — Центрально-Черноземного края России.

В УГЛОВОЙ КОМНАТЕ КРАСНОКИРПИЧНОГО ДОМА

Написание с Виталием Санниковым публицистической статьи — «Ваша неправда, господин президент!», обращенной к Линдону Джонсону. Мы неделю собирали материалы, всю ночь на бумаге занимались Америкой в однокомнатной квартире-коммуналке, мешая Элле спать. А на другой день «наверху» мне объяснили, дескать, что положено Юпитеру, не позволено быку: что позволено центральным изданиям, прежде всего, «Правде», не позволено областной газете, тем более комсомольской. Сколько потом крепких статей и иного жанра строк по разным причинам не прошло в печать, при уверениях, что они хороши и непременно пойдут, но вдруг задерживались на редакторском столе из-за изменившихся веяний, обозначенных на пленумах, съездах, или в цензуре, или на высоком обкомовском этаже.

Вскоре в той же комнатке — приглашенные мной сокоммунаровец-друг Толя Морозов и уроженец Семилук, столичный поэт Валентин Сидоров. (Элла с малым сыном у моих родителей, в Криничном). Споры за полночь. О чем? О Новгородско-Киевской Руси. О прошлом России. О Советском Союзе.

«Будь моя воля, я бы русскую жизнь устроил, чтобы у людей была возможность думать не о куске хлеба, а о мире, о культуре, о нашем наследии — во многом порушенном. Я бы отпустил республики и их населяющие недовольные верхушки на все четыре стороны, будь то Прибалтика, или Грузия, или иные охотники до отъединений».

(Я тогда словно подутратил из детства шедшее чувство державности, и Советский Союз уже воспринимался мною не как собор породненных историческими судьбами народов, а как некое тяжелое для России бремя — в таком моем антиимперском восприятии сказались соблазны фрондерства и либерте, присущие молодости, поверхностное знание, отрыв от почвы и подлинного понимания происходящего.)

Валентин Сидоров при нашей горячей хмельной беседе сказал, что я «ум своеобразный и требовательный», но надо бы «потереться» среди столичной литературной патристической публики, чтобы не плутать в трех соснах и уяснить, что Советский Союз — империя, а не страна, залитая парламентскими упражнениями, лживыми обещаниями и вредными устремлениями; уже при исходе затянувшейся встречи, прежде знакомый с моими стихами, он вдруг предложил дать их для публикации в «Молодой гвардии», где обещал полное содействие. Позже поэт увлечется Индией, учением Рериха, даже Блаватской, что, естественно, не могло не отдалить его от православия и всего того, что он в молодости любил и защищал.)

НА РОДИНЕ ИВАНА ТУРКЕНИЧА

Осень 1966 года. Редактор и редколлегия попросили срочно добраться до **Петропавловки**, чтобы через три часа выступить на праздничном вечере молодежи. Вовремя поспел на «кукурузнике» — незаменимом труженике местных авиалиний. Битком набитый зал, стихший и доброжелательно внимающий. После короткой справки о «Молодом коммунаре» я стал рассказывать о геологическом, историческом, культурном богатстве Воронежской земли, о выдающихся людях родного края. Естественно — и о Туркениче, родившемся в недалеком от Петропавловки селе Новый Лиман, памятник которому был только что установлен в районном центре.

(Иван Туркенич — участник великой войны с первого дня, попал в плен, бежал, командир «Молодой гвардии», погиб на польской земле в сорок четвертом, звания Героя Советского Союза удостоен только в девяностом. Удивительна судьба молодых, в советское время прославленных, а в перестроечные и постперестроечные дни опошленных мелкими перьями и кинокадрами, о ком бы ни шла речь, — о молодогвардейцах, о Зое Космодемьянской, об Александре Матросове или подмосковных панфиловцах. Трагическая судьба! И к этому можно добавить только одно: подобных им были великие тысячи, но они не стали широко известными, а Туркенич, Матросов, Космодемьянская были государственно возведены на пьедестал, их сделали символами Советской эпохи, и именно за это их ненавидели переворотыши-сагопевцы перестройки.)

В ГОСТЯХ У ПЕСКОВЫХ

Тресвятская, она же поселок Воля, она же Парижская Коммуна — чиновники большевистской власти никогда не скупилась на переименования и громкие названия как больших, так и малых уголков страны. По осени коммунаровской бригадой (Толя Костин, Галя Абросимова, Эмма Худякова и я) побывали у живущих здесь отца и матери Василия Михайловича Пескова, впечатлявшего многих замечательными строками о природе и человеке, справедливо отмеченного Ленинской премией. Он и назначил нам здесь встречу. Когда учился в педагогическом, я проходил практику в пионерском лагере, подвизался пионервожатым, а воспитательницей была сестра Василия Михайловича — Мария Михайловна. Увидев во мне что-то не совсем заурядное, она благосклонно относилась ко мне, наверное, по-доброму рассказала брату обо мне, так что прославленный журналист, тактично не выделяя среди остальных, более других расспрашивал меня о разном, был душевно открыт и внимателен. Разговаривали о журналистике, о дне текущем, и об истории Воронежа и России — тоже. Его отец и мать — люди основательные, радушные, несуетливые — родом из близкого села Орлово, некогда городка-крепости на Белгородской черте; естественно, потянулись к беседе на исторические темы.

ФЕЛЬЕТОН И КРЕСЛО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Случай более дурацкий, нежели забавный... Владимир Котенко, сотрудник-фельетонист, целую дюжину фельетонов в недельный срок выдал на гора, редактор их отклонил. Многие — слабые, к печати забракованные справедливо, но фельетонист надумал жаловаться редколлегии, располагавшейся в кабинетах по правую сторону от лестничной площадки. Все собрались в одной комнате, все согласились поговорить с редактором, все двинулись дружно. И тут Света Власова воскликнула: «Меня же на телефоне ждут!» и кинулась к двери, ее пассаж повторила Эмма Худякова, а Юрий Неделё со словами «Старички, ко мне же авторы сейчас придут!» ловко нырнул в свою дверь. Остались мы с Валентином Семеновым, но последнего остановил на лестничной площадке мне незнакомый человек. К редакторской двери я подошел один, позади почтительно выжидал уже казавшийся мне настырным фельетонист. Кабинет был обширный, редакторский стол располагался у противоположной стены. Дубровин, увидев меня, заулыбался. Поздоровались, несколько общих слов, а затем я что-то начал бляеть об особом положении журналиста-фельетониста и даже о свободе слова, о том, что не должен творческий человек работать сплошь на мусорную корзину.

Дубровин долго переминал ладони, затем грузно поднялся и сказал, стерев пот с лица: «Садись, Вить...» Я недоуменно уставился на него. «Садись и рули — пе-

чатаяй хоть Котенко, хоть ката домашнего. Это теперь твое кресло». Я ответил в том духе, что в такое кресло меня не усадит даже министр печати, даже сам генсек, но потребовались еще слова и дела, чтобы между нами восстановилось потом прежнее доверие.

СТАЖИРОВКА В «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЕ»

Август 1967 года. **Москва**. Согласно письму-вызову «Комсомольской правды» мне надлежало пройти стажировку в знаменитой газете. Существовала такая практика — присматриваться к перспективным сотрудникам из молодежных профессиональных газет и приглашать их на высокий этаж «Правды», дабы через всякого рода задания проверить на будущую пригодность в столичной прессе. Честно говоря, я не испытывал ни малейшей тщеславной тяги оказаться в оной прессе. И тут вдобавок на меня, накануне продутого ветрами в прибалтийской поездке, навалилась простуда, от командировки в Мурманск пришлось отказаться. Мне предложили подготовить несколько заметок (из Большого театра, из консерватории, из Ленинской библиотеки), я их наспех скорил, и у меня образовалась уйма времени, которое посвятил главной библиотеке страны, хождениям по старинной Москве и подмосковным поездкам. Впечатление сильное, незабываемое — **Красная площадь** (разве что «красный погост» и мавзолей не представляются мне уместными именно здесь), **Исторический музей, Новодевичий монастырь и его кладбище, музей-квартира Достоевского...**

В ГЛАВНОЙ БИБЛИОТЕКЕ СТРАНЫ

Было непередаваемой радостью подниматься по широким мраморным ступеням главной библиотеки страны в огромный читальный зал и по журналистскому спецдопуску заказывать стопы редких изданий, погружаться в просмотр, а то и пристальное чтение книг, иные из которых на всю жизнь остались в памяти, другие оказались промельками среди прочитанного. Библейские книги, книги отцов церкви, книги писателей религиозно-духовной направленности: Достоевский, Ренан, Мережковский...

Почти заполненная записями общая тетрадь, где всему подыскалось место — христианскому календарю, духовно-православному словарю, цитированиям, для меня существенным, вроде следующих: «Св. Кирилл, просветитель славян, в беседе с сарацинами о св. Троице, указывая на солнце, сказал: “Видите, стоит на небе круг блестящий, и от него исходят свет и тепло. Бог Отец, как солнечный круг, един без начала и без конца. От Него предвечно рождается Сын Божий, как от солнца свет, и светит всему миру. И как от солнца вместе с светлыми лучами идет и тепло, так от Бога Отца исходит Дух Святой. Всякий различает порознь и круг солнечный, и свет, и тепло, а солнце все одно на небе. Так и Святая Троица: три в ней лица, а Бог Всеединый и Нераздельный”. (Еще с младоюношеских лет нося в сердце непостижимости и поэзию Троицы, тем не менее, я, сын атеистического времени, после прочтения Кириллова разъяснения Троицы через сравнение с солнцем, гордыню усомнился в правомерности и истинности такого сравнения, поскольку солнце рано или поздно погаснет, но Бог-то вечен...)

(Через десятилетия при посредстве писателя Виктора Перегудова, в не столь давние времена помощника мэра Москвы, — встреча с тремя генеральными директорами Российской государственной библиотеки (бывшей «Ленинки»): давно возглавлявший главное книгохранилище страны Виктор Васильевич Федоров; недавно бывший, ныне генеральный директор Санкт-Петербургской на-

циональной публичной библиотеки Александр Иванович Висльй; и нынешний — Владимир Иванович Гнездилов. Они знакомят с залами Румянцевской библиотеки, показывают «Федоровский» зал, ценные собрания, один из директоров, ныне президент РГБ — Виктор Васильевич, — дарственно подписывает подготовленный им блок рисованных портретов «Хранители мудрости» от Ярослава Мудрого и Ефросиньи Полоцкой до Николая Лобачевского и Ивана Цветаева: «Виктору Будакову — писателю от Виктора Федорова — библиотекаря. В стенах «Ленинки». Москва, 20 декабря 2017 года».)

КАКИМ БЫВАЕТ ПРЕДАТЕЛЬСТВО

В «Молодом коммунаре» вскоре после того, как я был назначен заведующим головным отделом и стал членом редколлегии, мне было доверено право подписывать номер, и приходилось делать это довольно часто, что по неписаному партийному правилу выглядело нонсенсом. Писатель и заместитель редактора Евгений Дубровин (а с ним — и многие мои добрые знакомые) настаивали подать соответствующее заявление. Отец — коммунист на войне, но мое отношение: партия — атеистичная, и разумное — быть вне партийного полога.

Стать партийным человеком — это попытка укрепить, устроить свое существование? Или же — родной страны? Поэт и редактор «Нового мира» Александр Трифонович Твардовский столь бы многое честное, смелое мог сказать, не будь коммунистом? Вернее, дали бы ему сказать и в достаточной мере проявить достойные общественные начала? Да, ему сумеется, и не только ему из известных. А неизвестные? Сколько их, коммунистов, первыми поднимались в атаки в дни войны?..

Неравнодушная ко мне приезжая журналистка ополчилась на меня, дескать, теряет достойного талантливую человека, он в ее глазах из внерядного превращается в заурядного, а вступление в партию — это уже некое предательство. Сколько личин у предательства: отбить мужа у доброй подруги, ее приютившей, — это не есть предательство? — возразил я ей, именно так поступившей. Но как бы то ни было, душевные колебания являлись и позже.

(Через двадцать лет мои сослуживцы Валентин Семенов и Владимир Котенко обратились ко мне с одинаковыми словами: «Ты что же, наша совесть, не сжигаешь партбилет? Мы сожгли на площади!» — «Я не плохадной человек», — отшутился. И уже серьезно: «Мое приобщение к партийному ордену — это мои, и только мои, горечь, заблуждение, боль. Такие вещи на митинговые площадки не выносят. И отвечать мне — не перед новоявленными новопартийцами...»)

А уже разворачивались партийные предательства всемирного масштаба. И никто из разновластных чиновников-коммунистов (за редкими исключениями) не выступил против этого предательства, а многие в скором времени быстренько сменяют одежды и партбилеты на новые.)

ГОЛОСА ИЗ ЛИЗИНОВКИ

Осень 1967 года. Поездка в росошанское село **Лизиновка** и на хутор **Ржевск**. В скоро опубликованном «Красном слове Лизиновки» — попытка рассказать о жизни села через вопросы-ответы его жителей. Наивная попытка: каждый человек — необъятный океан с непрерывными волнами добра и зла, хорошего и дурного, его душевный мир для стороннего непостижим даже и в долгих исповедях, а беглый абзац о его внешнем малоценен, чтоб не сказать резче. Полосный материал в «Молодом коммунаре» вышел усеченным — редактор снял рассказы единичника, бывших монахини, полицейского, дезертира, поджигательницы семей-

ного жилища из-за ревности: в ее отсутствие муж приглашал молодую незамужнюю соседку в дом на застолье и хмелящее ложе.

«Хоть и не Ясная Поляна» — эссе о близком к Лизиновке хуторе Ржевск, куда к Черткову приезжал Толстой.

НА РОДИНЕ СОБИРАТЕЛЯ РУССКИХ ПЕСЕН

В майский день — **Александровка**, родина собирателя русских песен Пятницкого. Митрофан Ефимович Пятницкий, сын священника, сетовал, что не первое десятилетие звучит, а ныне не обретает ли трагическое и бесповоротное воплощение: «Народная песня, эта художественная летопись народной жизни, к глубокому сожалению, вымирает с каждым днем. Деревня начинает забывать свои прекрасные песни...» Увы, не только песни уходят, а и деревни уходят.

Но тогда, в первой четверти двадцатого века, Пятницкий приехал в Москву с народной певицей Иринушкой Колобаевой (Ариной Колобовой) и ей сопутствующими голосами. И им созданный хор исполнял песни поистине дивно, сам Бунин, строгий, нетерпимый к фальши, к якобы народности, заслушался... Спел хор и для Ленина в Кремле в 1921 году, как всегда, отменно: вождь весьма хвалил.

Да и поныне хорошо поют в Александровке. И, как меня заверила руководительница сельского хора, — песни местные. Их невозможно было слушать без благодарственного и грустного чувства: в непритязательных словах восходило чистое, наивно-поэтическое, вечное — соприродное и сочеловеческое.

Расти, расти, черемушка,
Тонкой и высокою,
Да не тонкой, не высокою,
А листом широкою.
Да нельзя эту черемушку
Неспелю рвать.
Да нельзя, нельзя девчоночку,
Не сватавшись, брать.

Как и всюду, в Александровке — разные люди, разные сердца и характеры. Еще в дореволюционные годы местный купец Резцов успешно вел дело: строил добротные избы и крестьянам задешево продавал или сдавал, а когда начались смутные дни, пришел к новым местным властям и сказал, что все избы передает миру, а себе просит оставить сторожку и дать ему место сторожа, чтобы был пригляд за неразрушенным. А помоложе его годами некто Лебедев закрывал и рушил церковь, где служительствовал отец Пятницкого. Строители и разрушители — извечная русская раздорица, да и только ли русская?! Та же реальность и **Новая Чигла**, выходцами из которой заселялась Александровка, названная так по воле сенатора Кушелева-Безбородко в память об Александре Невском.

ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ ВОЙНЫ И МИРА

Июнь 1968 года — **Белгород**, выступал на союзном семинаре журналистов, посвященном двадцатипятилетию битвы на Курской дуге. Основная мысль — народное чувство Отчезества в дни мира и в дни войны. Рассказы участников великой битвы и великой войны о сожженных славянских деревнях и селах, о расстрелянных, сожженных, искалеченных судьбах — и это разве не изничтожение, не сожжение, не геноцид славянского народа? Весь тот фашистский поход — именно геноцид восточнославянского мира, как и «освобождение Европы» от еврейского мира через холокост.

Поездка с Илей Яковлевичем Польским, добрым острогожским знакомым, по значимым местам Курской дуги — Прохоровка, Обоянь... Вскоре в «Молодом коммунаре» выйдут «Эти пятьдесят суток», которые в какой-то мере передают мое тогдашнее настроение: «Желтые хлеба как цвет августовского солнца. А в полях все еще находят мины. И заржавленные осколки нет-нет да и заскрежещут о пахущий плуг. А хлеба поднимаются ростом выше человека — зреют, и не хочется думать о войне. Но среди хлебов тянется противотанковый ров — угрюмый, глухими травами поросший. Ров разрезает автострада. И по ней в длинной веренице легковых спешим мы к солнечному морю, и поем песни, и радуемся. Так остановимся хотя бы на мгновение. И, остановившись, помолчим, чтобы дальше в жизни своей — светлее и честнее.

Земля родимая, вечно прекрасная. Курская дуга. Крапивенские Дворы. Скромная братская могила. Лежат в ней те, кто завещал нам высокие травы, высокое солнце, высокую жизнь...»

(В дни нашей поездки на Прохоровском поле, где в июле сорок третьего полыхало грандиозное танковое сражение, где был предопределен исход битвы на Курской дуге, ничего еще памятного не было — ни Петропавловского храма, возведенного миром, на пожертвования русско-народные, ни удивительно вписавшейся в окрестный ландшафт звонницы, подобно белокаменной свече тянувшейся в небо, возведенной вдохновением и любовью скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова, уроженца сопредельной курской земли, ни самого всероссийского признания Прохоровского поля как третьего ратного поля — после Куликовского и Бородинского.)

ПРИРОДА НЕ ПРИЗНАЕТ ШУТОК

Ранне-детское, юношеское и нынешнее мое чувство природы, сердечное волнение и раздумье о вечном и столь хрупком ее Древе частично воплощается строками в «Молодом коммунаре» (под собственной фамилией или под псевдонимами, зачем-то употребляемыми, внутренне мной отвергаемыми как подменными, заменителями подлинного); о природе — мои стихи, эссе, зарисовки, рассказы, всевозможные отчеты с природоохранных конференций, совещаний, например, недавнее совещание в областной прокуратуре и отчет о нем, опубликованные в «Молодом коммунаре» 30 июля 1968 года под предлинным разношрифтовым названием — гетевским изречением: «Природа не признает шуток; она всегда правдива, всегда серьезна, всегда строга; она всегда права, ошибки же и заблуждения исходят от людей». Двумя годами ранее (чуть меньше) публиковался отчет с круглого стола редакции, который я назвал «Именем русской природы». Везде — о сегодняшнем и завтрашнем ее дне, о ее сбережении, о том, как помочь ей созданием лесопарков, прекращением пойменных распахов, обваловкой оврагов, очищением рек, возвращением к току забытых родников...

Что-то делается, что-то так и остается на бумаге.

(Годы спустя. Областной прокурор Александр Михайлович Рекунков, хвалявший мои газетные экологические строки, стал Генеральным прокурором СССР. Многие из участников тех конференций и «круглых столов» — больших ученых, преподавателей Воронежского лесотехнического института, сотрудников Воронежского и Хоперского заповедников, Шипова леса, Хреновского конезавода, оберегателей местной флоры и фауны — ушли в мир иной. Природа все больше ранится под техногенными нагрузками и человеческой недальновидностью и жадностью, бесхозяйственностью, беспечностью и неразумностью, из-за чего большие речки мелеют, малые пересыхают, леса убывают, зеленый мир

вокруг Воронежа стеснятся многоэтажными массивами. Что ждет нас? Что ждет высокий осокорь, в котором — я, что ждет парк из тысяч деревьев, в котором — тысячи воронежцев, что ждет миллионы строящих, потребляющих, уничтожающих?)

ВЕРНИСЬ, ВОРОНОЙ!

Под таким заголовком опубликован мой материал — то ли очерк, то ли эссе — о коне и Хреновском конезаводе. Это моя первая прозаическая публикация в журнале «Подъём». Ее подготовил поэт Виктор Панкратов, заведомо публицистики, очерк он воспринял, на мой взгляд, завышенно — выдать, по широте и благородству души. На мое удивление, похвалили его и в местной литературной среде. Ладно, знаю, что в литературном мире так бывает: печатают, хвалят — как некий аванс выдают. Но каково же было мое уже не удивление, а изумление, когда не за долгими месяцами мне передали столичный журнал «Коневодство и конный спорт», а там высокий коневодческий чин хвалил мой очерк, закольцевав мою фамилию великими фамилиями — Толстого, Чехова, Куприна...

(Некоторые строки из очерка, несмотря на мое сдержанное отношение к нему, много позже я повторил в повествовании о коне и Хреновском конезаводе «Подкова на счастье»; более того, заклинание «Вернись, Вороной!» троекратно повторил и в позднем стихотворении «Крестьянский конь» — «...Вернись, Вороной! / Мой трудага, крестьянский мой конь, / Не громко-былинный, / Но доброе, честное имя. // Я хлеба возьму для тебя, / И тебе поднесу я ладонь. / И что же нам дальше, / И что же нам дальше, родимый?»)

УКЛОНЕНИЯ ОТ «ГЕНЕРАЛЬНОЙ» ЛИНИИ

Поздняя осень — попытка диалога с Воронежской епархией. Трудно вообразить что-либо более самонадеянное, неумное, нежели эта попытка журналистов атеистической «молодежки» объясняться с тысячелетней на Руси консервативной духовной силой. Позорная во всех смыслах попытка, да и расплата последовала незамедлительно. Секретарь епархиального совета сказал, что архиерей — в отъезде, а что сообщил главному обкому — можно догадываться: через полчаса туда был вызван редактор и вернулся расстроенный и разгневанный. Строгий выговор неумному предприятию.

Куда более жесткие «репрессии» последовали после публичных и письменных, телеграммно отосланных моих слов солидарности и благодарности за творчество — служение земле Русской — «неблагонадежному» Александру Исаевичу Солженицыну. Колесо закрутилось уже после Нового года. Для объяснений я был вызван на разные этажи-уровни обкома, и не только «понижен» — переведен из заведующего отделом в рядовые сотрудники, — но был, попросту говоря, изгнан из журналистских и культурных комиссий и даже из... областного президиума охраны природы.

Обиднее было отступ, как от прокаженного, некоторых моих коллег и товарищей. С первого дня не отступились от меня редакционные Толя Костин, Стас Никулин, Витя Чекиров, Толя Морозов, Ян Шейхет, Валентин Семенов, да и сам редактор «Молодого коммунара» Евгений Пантелеевич Дубровин. Через полгода все стало на свои места. Федор Сергеевич Волохов, редактор «Подъёма», переставший было меня замечать, однажды сам подошел ко мне на главной городской улице и предложил командировку в Тамбов. «Так я же клейменный», — пошутил. «Да ладно, ты из лучших молодых публицистов, тебе и ехать». Журналист Валентин Андреевич Прохоров, старшедружески ко мне расположенный, тогда предполо-

жил: «Какая-то серьезная сила вас поддерживает, иначе порезче могли бы подсесть»; Толя Морозов позже писал обо мне как уже известном журналисте, достойном и уважаемом, так что областным властям не с руки было видимое строгое наказание. Думаю, все намного проще: невелик общественно-политический грех — «проступок» журналиста с народно-родинovedческими убеждениями. А на страну неотвратимо надвигались испытания куда более реальные: антигосударственные, антипатриотические, антисоветские, антирусские, антироссийские...

«СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ»

Всесоюзное военно-патриотическое молодежное начинание «Снежный десант» — лыжные маршруты и пробеги по воронежским местам боевой славы. Мои строки об этом... Возглавил «Снежный десант» генерал Болознев — личность значительная, легендарная. Из крестьянской, поморской семьи, он рано проявил военные способности, до войны руководил полком, дивизией, округом. Отваги, чести и справедливости редкой. В тридцать седьмом, когда увидел, как за ним, как сочувствующим Якиру, направляются трое энкаведистов, разбил окно, выставил пулемет. Чудом обошлось. А в самом начале Великой Отечественной войны ему, со своими войсками стоявшему в Прибалтике, позвонил Сталин, задал пару вопросов и весомо, раздельно пообещал: «Сдашь Либаву — расстреляю». Какая там Либаву, когда уже вся Прибалтика полыхала, и те части, которые генерал направил для защиты Либавы, сгорели, как спички, брошенные в костер! Тогда же он был тяжело контужен, по выздоровлении возглавил Казанское военное училище, а после войны долгие годы заведовал военной кафедрой Воронежского государственного университета.

Так вот, Василий Васильевич Болознев стал каждодневно бывать в редакции, куда-то кому-то звонил, добился того, что о «Снежном десанте» на местных верхах заговорили всерьез. Он настоял подготовить отчет-альбом о нашем «Снежном десанте», увлек нас с Виктором Чекировым в Москву, в «Комсомольскую правду», где располагался штаб всесоюзного «Снежного десанта»; на поведение молодых голенастых сотрудниц, небрежно метнувших альбом в угол, откликнулся саркастической отповедью, потребовал пригласить замредактора, и тот действительно быстро явился. Позже деятельность воронежского «Снежного десанта» была оценена в виде Почетной грамоты ЦК, письма-благодарности, отзыва в центральной прессе.

НА ЗАПОВЕДНОМ ХОПРЕ

Новохоперск. «На заповедном Хопре» — назывался мой очерк о Хоперском заповеднике, опубликованный в «Молодом коммунаре» 23 марта 1969 года, сразу после командировки, и начинался он так: «Время от времени нет-нет да и поднимается в городском человеке хорошая, хоть и непривычно это сказать, тоска: ему начинает казаться, что в далеком, словно лелеющий сон, детстве подолгу бродит он зелеными лесами, споткнувшись о прелую валежину, падает в зеленые травы; и сосны, своими игольстыми макушками касаясь летящих птиц и облаков, медленно кружатся над ним; а там, за зеленым пологом, на тугих кругах подоблачно парят красивые птицы. А может, и не было всего этого в его детстве, а было разве в детстве его пращуров, но передалось и ему какими-то потаенными путями, и вот теперь человека — среди каменной штольни проспекта — в квартире со стенами, увешанными старательными копиями «лесных» картин Шишкина или французских художников-пейзажистов, осиливает эта странная смута и гонит в лес. И не раз, и не два погонит. Он исходит чуть намеченные тропки, радостно

мучаясь терпкими запахами листвы, будет завидовать лесникам: “Податься бы и мне”, — не зная, не подозревая даже, какая трудная жизнь у леса и у тех, кто его охраняет».

Это я говорил о себе, еще в юности обещая друзьям: «Мысленно я в детстве испытал — быть летчиком, мореходом, геологом, журналистом. Но благородней и соприродней всего — страда лесника. Рано или поздно я навсегда уйду в лесники». Нет, покамест я лесоводничаю на газетной полосе «Росинка», даю стихи о природе, провожу круглые столы «в защиту русской природы», пишу отчеты с экологических конференций.

Что увидел в Хоперском заповеднике (как и в Воронежском, в нем я бывал не раз), наводит на грустные мысли — понятные, отчего: гибнущие дубравы, болеющий лес, чувствительные к природным изменениям звери и птицы. Очерк «На заповедном Хопре» заканчивался признанием: «Поначалу, собираясь в заповедник, думал, что напишу о голубой “Хоперской жемчужине” — о ее четырехстах озерах, малых реках, старицах, о ее черноольховых топях, о гнездящихся здесь журавлях... А получилась совсем другая статья». Другая, совсем трагическая, всемирно объемлющая статья — и меняющаяся, разительно убывающая природа, божественная природа, которая дала человеку все — на свою погибель.

(Как в молодости прикарпатскими и кавказскими лесами, с годами мне выпало бродить лесами сибирскими, заволжскими, брянскими, подмосковными, северо-архангельскими, среднерусскими (березняками, сосновыми борами, дубравами), не предчувствуя даже, какая пила потребительского общества обрушится на них, беззащитных в новой России, утянутой в капиталистический безудерж. Эти черные лесорубы, эти заголоты-лесоильни, эти лесные продажи и распродажи — да ликует частное обогащение! И на всей планете уничтожается лес, и сколь бы, скажем, немцы или шведы не оберегали и не нумеровали свои деревья — главные леса, «легкие планеты», леса Африки, Южной Америки, Сибири и русского Севера, когда-то наполненные хищными зверями, сейчас истоптаны деловитыми хищниками-людьми, готовыми вырубить и леса, и человеческое будущее. Древних исполинов, несокрушимых, казалось бы, зубров в Хоперском заповеднике не осталось. Ни одного!

В заповедных глубинах-недрах лежит никель (уран, палладий?), терзатели-энтузиасты-добытчики земной утробы всегда отыщутся, и все труднее дышит дивный заповедник.)

СУД ПО ДЕЛУ ЖУРНАЛИСТА

По приезде — суд. Редактор Евгений Дубровин уволил сотрудника Леонида Коробкова. Решение, пожалуй, опрометчивое и неподготовленное. Леня Коробков — далеко «не самых честных правил», без особых нравственных комплексов и угрызений, с холодными чертами ума и характера, склонный к интриге, но журналист сильный, эрудированный, в логических защитах искушенный. Моральный облик уволенного был оставлен в стороне, суд подтвердил редакционное увольнение, а вскоре... восстановил уволенного. Вот и непогрешимость Фемиды, миллионы судов вавилонских, израильских, римских, средневековых, буржуазных, советских — не миллионы ли если не сломанных, то потревоженных судеб?!

Леня до суда и особенно после суда исписал горы бумаги, адресуя письма в высокие инстанции, а в его письменах (как я узнал позже) избобличался не только Дубровин, но и я как автор «гнусных» строк, якобы поощряющих, хвалящих антисоветскую деятельность автора «Матренина двора». По молодости эта доносительная неправда воспринялась остро, но скоро затмилась другими журналистскими и житейскими «боями».

До того шапочно знакомые, в летний час в уличной толпе на главной городской улице мы нечаянно плечами зацепили друг друга, одновременно прокомментировали наше столкновение, дескать, как баркасы на реке, рассмеялись и разговорились. Забрели магазинный отдел «Вино-воды», потом долго бродили по городу; я был в некотором роде уже известный краевед, он расспрашивал, я рассказывал о Воронеже, о Доне, о его великих людях не только сугубо литературных. Чувствовал: нам обоим было приятно единомыслие, единодушие в том, о чем говорили. В Петровском сквере присели на массивную чугунную скамейку, глядя на левый берег вдаль — на восток, где ему, быть может, виделась малая родина, его счастливо названное село в Алтайском крае, его родная сестра Рая, с которой они в детстве, по его рассказу, были так дружны.

В тот вечер Алтай нас еще более сблизил. Там по окончании Россошанского педагогического техникума учительствовал мой троюродный брат Михаил Остапенко, сокурсник поэта Алексея Прасолова. И многим росошанцам обязан Алтай — просветителям в его самых дальних уголках. Затронули и более давнее: переселение воронежских крестьян на Алтай.

(Были поры, когда мы с Женей Титаренко встречались часто, в конце 1985 года — чуть не ежедневно: в Центрально-Черноземном издательстве, где двадцатью годами раньше он редакторствовал, я вел книжную серию «Отчий край»; Женя часто заглядывал ко мне на минутку, нередко в обоюдном желании длившуюся часами; устные словесные абзацы о местной издательской страде переплетались с обсуждаемыми мировыми событиями. Свою книгу «На маленьком кусочке вселенной» он подписал мне так: «Вите Будакову — с надеждой на еще большую духовную близость. 25 декабря 1985 года». И действительно, тогда мы подолгу отдавались беседам именно «духовного» свойства — о судьбах Отечества и мира, о религиозных и апостасийных эпохах, о любви, верности, предательстве, о русской классической литературе, а еще — о современных писателях-воронежцах: Кораблинове, Троепольском, Гончарове, Гордейчеве, Дубровине, Жигулине и — особенно — Прасолове.

За несколько месяцев до ухода из жизни Прасолов пригласил Титаренко пожить в его временно холостяцкой квартире на улице Беговая, и они не брали в рот спиртного, а говорили, говорили и о мире, и о стране, и о женщинах (об этом есть в моем документальном повествовании «Одинокое сердце поэта»). Я просил Титаренко написать памятное о Прасолове, он раздумчиво качал головой, не обещая и не отказывая. Нет, не написал он ни коротких, ни жизнь охватывающих воспоминаний, а они, не сомневаюсь, были бы проникновенными и честными.)

ПОДСТЕПЬЕ — ДЕТСКАЯ РОДИНА БУНИНА

Конец июня — начало июля 1969 года. Орловское подстепье, бунинские места. Отправная точка — Елец. Со знаменитым уездным городом, что на год старше Москвы, а двумя веками позже отважно, до последней с мечом вскинутой руки, оборонялся от орды тамерлановой, меня знакомит радушная Софья Васильевна Краснова, ведущая в местном пединституте курс краеведения. Именно с высококого берега Тихой Сосны, с совсем близкой часовенки в память о погибших тогда ельчанах, с могучего Вознесенского собора и начинается мое постижение удивительного городка. А далее — бывшая классическая гимназия о двух краснокирпичных двухэтажных зданиях, где учился Бунин, где преподавали философ и пи-

писатель Розанов, писатель Пришвин и, право же, учило, и преподавало немало иных достойных, но историей уже уведенных во мраки безвестности.

Ныне здесь первая городская школа. Резное чугунное крылечко, резная чугунная лестница. В актовом зале несколькими днями назад цвел, гудел, пламенел голосами и песнями вечер выпускников, и зал весь — в березовых и кленовых ветках, в раннелетних цветах и ромашках. Листья веток уже усыхали, и пахло грустно и, сколь не затрогано слово, — щемяще. Этот запах-настой ромашек и березовых веток, вечный и так скоро уходящий, тих и легок, как легкое дыхание гимназистки Оли Мещерской из одноименного бунинского рассказа; и столь нелепо погибла ее юность, и как сложится жизнь юных тех, которые несколькими днями назад расставались со своей школьной юностью? Здесь, в столь необычном, «прощальном» пребывании бывшей гимназии — нынешней школы, — я почувствовал, что молодость моя незаметно отдалилась, тихо во мне истаяла и что этот смешанный запах-настой из березовых листьев, цветов и ромашек будет преследовать меня до конца дней моих земных. И здесь же не в первый раз подумал о бессмертной душе, которая тоже если не стареет, то зреет, принимает на себя семейные, национальные, мировые боли — устает.

Надолго пришлось задержаться в доме, где когда-то квартировал гимназист Ваня Бунин. Угловой купеческий дом на скресте улиц, которые теперь носят имена Карла Маркса и Максима Горького, что, думаю, «несказанно» бы обрадовало писателя, узнай он при жизни об этом. Я же не покинул семикомнатного дома, пока, словно дотошный следователь, не порасспросил все три семьи, обитающие в нем, — Филипповых, Ефремовых, Рогатых. В рассказе Александры Александровны Филипповой — историческое, семейное и даже маловероятное, мистическое. Мол, в дом, который достраивал ее дед, однажды незадолго до войны постучался старик и попросил посидеть на скамейке в саду, сказав, что он здесь когда-то временно обитал. С полчаса молча посидел, на прощанье благодарно кивнул головой, тихими шагами вышел из сада и растворился во тьме. Кто был — знакомый, родственник ли Бунина, а может, и сам он?! Разумеется, не Бунин, у него длилась реальная французская жизнь, но в подстепный край и непосредственно в Елец он возвращался, возвращался, прочитать хотя бы рассказ «Июльский час».

Побывал я, разумеется, и в церковке Введения во храм Богоматери, где юный Бунин выстаивал в молитвах, побывал и на городском кладбище, и в монастыре, в церквях и колокольнях, куда гимназист, будущий писатель, нередко забредал.

Встреча и долгая понимающая беседа с Федором Федоровичем Рудневым, смелым человеком, истинным краеведом, своеобразной живой «Бунинской энциклопедией».

«Пустынные поля, одинокая усадьба среди них...» Это **Бутырки** — страна детства будущего большого писателя, побывавшего во многих уголках мира, однажды высказавшего сожаление, что, родился он в Нюрнберге, среди величия соборов, каменных улиц и площадей Западной Европы, он бы лучше писал. Думаю, что и сам Бунин понимал неистинность, поверхностность, запальчивость подобного сожалительного «размышления-предположения». Да, бесконечные поля, синие перелески вдали, овраги, скирды. Камни, крапива, кусты сирени. Весь день — солнечно и прекрасно. Поэтический клинышек полевой России, поэтическое его восприятие.

В тот же день — деревни **Озерки** и близкая, в версте, за увалом Каменка. Озерки — сокровенная полоска юности будущего писателя. С полсотни изб, березы под окнами, пруд, на котором гуси — как белое облако, на выгоне лошади, индейки, куры. От усадьбы — чуть приметное нахолье и, как в Бутырках, — камни, крапива и кусты сирени. Патриархальное безмолвие. Правда, прогарахтел трактор и пропылил грузовик, но они — словно нечаянные здесь, а так — тихо: заплотин-

ный овраг уходит куда-то вдаль; по деревне неспешно правятся по своим делам местные жители; с ними из них я поговорил, но, право, никому нет особенного дела, что здесь протекала юность будущего нобелевского лауреата, а для нас важнее — прекрасного русского писателя.

И как когда-то Бунин размышлял о чуде Кропотовки, деревни, где на усадьбе своего отца бывал будущий гений-поэт, так и я, глядя на бедно-скромное подстепье с его тихими деревнями, не мог мысленно не воскликнуть: «Да неужели он был и жил здесь?!», вполне понимая, что не просто был и жил, а увиденное и пережитое художественно воплотил в непревзойденном — «Жизни Арсеньева», «Митиной любви», «Позднем часе», «Деревне», «Суходоле»...

Каменка — и есть прообраз его «Суходола». Деревня по обоим склонам глубокого лога, по дну которого некогда протекала речушка Каменка, сохранились остатки усадьбы двоюродного брата писателя: все те же разбросанные камни, бурьян, заросли сирени, остатки вала, остатки яблонь, редкие березы по границе усадьбы.

На другой день — более дальнее **Васильевское-Глоотово**, село у речки Семенек, где располагалась усадьба Пушешниковых, родственников Бунина. Для писателя то был вдохновенный приют, поистине его счастливое «Болдино». Написанное здесь — «Деревня», «Суходол», «Древний человек», «Крик», «Веселый двор», «Господин из Сан-Франциско», «Иудея», «Страна Содомская». Рассказы старожил о староветхом Таганке, запечатленном Буниным в «Древнем человеке», о самом Буине, памятном по воспоминаниям их отцов.

Неподалеку — **Скородное**, в два десятка изб хуторов, как все обреченные хутора, вызывающий на поэзию, грусть и жалость. Победимовский сад, то есть помещика Победимова, саду больше ста лет. За восемьдесят лет Афанасию Павловичу Семенову, который в детстве в Васильевском и в Скородном видывал Бунина, когда тот охотился. (Будь в этих подстепных уголках полвека назад, я, бы наверное, тоже мог встретиться с автором «Деревни» и «Суходола» — до его трагического бегства из вдохновенного для него Васильевского. Но полвека назад меня еще не было на белом свете, так что радостью было поговорить с преклонными стариками, видевшими писателя.) Афанасий Павлович рассказывает, что в победимовском саду больно хороши были яблони, и что именно отсюда родились «Антоновские яблоки». Скорей всего, предание, подобное тому, как на хуторе Ржевск Лев Толстой высаживал три могуче выросших каштана, а приезжал писатель на хутор в марте, когда земля лежала под снегом.

Кропотовка — родовое имение отца Лермонтова, где не однажды бывал юный поэт. Остатки сада, сирень, бурьян на усадьбе, которую до войны еще можно было увидеть своими глазами, а в войну — сожженную фашистами. По приезду в Воронеж — написать письмо Сергею Даниловичу Комарову, старожилу из Кропотовки: при воссоздании усадебного дома (а он когда-то, надеюсь, будет воссоздан) потребуется его помнящее знание.

В двух километрах от Кропотовки — селцо **Шипово**. Угасающее. Церковь среди подстепного простора. И давно уже нет каменной плиты на могиле отца Лермонтова. Краевед Руднев в елецкой городской газете «Красное знамя» от 20 августа 1950 года писал: «В трех километрах от деревни Кропотово в селце Шипово, у церковной стены, лежит каменная плита. Под ней покоится прах отца поэта. Хорошо было бы... здесь устроить литературный заповедник». Через шесть лет в елецкой районной газете читаем строки того же краеведа: «В нескольких километрах от деревни Кропотово в селце Шипово у стены старой церкви еще года три тому назад лежала каменная плита от памятника, под которым покоился прах отца поэта. Жаль, что сейчас уже здесь нет ни плиты, ни других предметов, говорящих о пребывании Лермонтова в этих местах».

Добираться в бунинские углки приходилось то редакционной машиной, то малопроезжим по степным косогорам допотопным автобусом районного отдела культуры, а добрых десятка три километров — от увала к увалу, от деревни к деревне, от хуторка существующего до хуторка, себя изжившего, — отшагал крепкими, с детства проселочные дороги помнящими ногами. Многое увиденное в моем первом «бунинском» путешествии на одном дыхании сложилось в большой очерк-эссе «В том плодородном подстепье...», который благодаря высоко оценившему его писателю Юрию Гончарову вскоре был напечатан в журнале «Подъём».

НА ДЕТСКОЙ РОДИНЕ ЛЕРМОНТОВА

Конец июля — начало августа — командировка от «Подъёма» в Тамбовскую область, в **Кирсановский район**, в бывшую коммуну «**Ира**». Не очень был уверен, что из увиденного в «Ире» напишется что-нибудь дельное. Но потрудился честно — расспросил десятки людей, просмотрел бумаги музея, исходил окрестностями. Впечатление былой, невозвратимой жизни людей, искусственно соединенных.

Как благодарность: первого августа «газик» тамбовской областной молодежной газеты по пыльным дорогам мчит меня на детскую родину Михаила Лермонтова, Остановка в райцентре — не рядовом: прежний уездный **Чембар** — ныне **Белинский**. На главной площади — памятник литературному критику, глубоко понявшему Пушкина, Лермонтова, Гоголя, по сути «открывшему» Достоевского, Гончарова; во весь рост признательное земляческое изваяние «неистовому Виссариону», то возвышенно истолковывавшему, то резко опускавшему творчество русских писателей и поэтов. Истина и неистовство — разве последнее не искажает первую? Почему-то вспомнилось сокрушительное «Письмо Белинского к Гоголю», краткий благородный ответ автора «Мертвых душ», не могло не вспомниться и пушкинское: «Нет убедительности в поношениях...»

Тарханы (Лермонтово) — посреди пензенской степи, скудной, сухой, солнечной. Первое, что бросается в глаза на приближении, — типовые двухэтажные дома, своим безвкусием огорчающие и угнетающие. «Газик» разворачивается в обратный путь, дорога уходит дальше, к Приволжью. Спросил у проходившего мимо сельчанина, дескать, как живется в Тарханах, не надоедают ли туристские толпы.

— Да какие там толпы! Чего в этих Тарханах интересного? Пруд, а в нем одни лягушки.

— Да, но лягушки из тех, что становятся царевнами» — отшутился я.

Кругом поля, поля (меня волнующее детство!), а близ дороги — усадьба-музей, за нею — церковь Михаила Архангела. Дамба, слева пруд, справа овраг, буйно заросший ветлами и лозами. Перед усадьбой, полускрытою заставой дубов, не вполне окрепших, — прелестный зеленый лужок. В музее, по залам которого меня провела старший научный сотрудник Тамара Мельникова, не могло не привлечь пианино, на котором играла болезненная мать будущего поэта, кому он обязан своими художественными дарованиями, или портсигар, из которого на днях выкрадено несколько сигарет(?), картины, мебель; музеи, не захваченные пламенем Великой войны, больше сохранили допотопного, но охотники из племени черных антикваров во всякие дни промышляют везде и всюду. Или искуривший сигарету давней эпохи надеялся не только приобщиться к лермонтовскому времени, но и заполучить через дым великий дар?!

Далее, вне музейных стен, меня охотно сопровождала молоденькая, милая музейная сотрудница Вера Каштанова. Исходили парк, всюду разнообразные деревья; сосны, березы, вязы, редкие дубы, а также липы, черемухи, ясени, а при корневинах их — белые развилы ландышей: «Из-под куста мне ландыш серебри-

стый / Приветливо качает головой». В саду — пышная сиреневая аллея, и, пригласив меня на скамейку, Вера стала рассказывать об окрестном и читать лермонтовские стихи. Я заметил ей, что давно, с детства перечитываю его стихи. «Ой, неразумная, читаю вам, а вы давно знаете, простите, это экскурсоводческая привычка. Да вам бы сразу остановить меня». — «Зачем же останавливать, мне мил ваш голос». Вера смущенно и благодарно улыбнулась. Пошли дальше. Глубокий овраг, по которому протекает речка Милорайка, пленен не только ольхами, ветлами, ивами, но и крапивой, незабудками. Добрались и до **Опалихи**. Это бывшее имение Шагин-Гирев, родственников поэта, ныне дикорослью, сиренями и черемухой заросшее, пустынное и... прекрасное.

Приспел час расстаться с усадьбой-музеем. Мы подошли с Верой к партеру — затравелой площадке перед входными дверьми. Средних лет сторож-рабочий парка, косивший траву, посмотрел на меня и, увидев в моих глазах память о былых косовицах, улыбаясь, спросил: «Давно приходилось косить?» — «Давно. В студенческие дни». — «Попробуете?» Я с радостью принял из рук сторожа косу и пошел медленно, чуть убыстряя, чуть убыстряя шаг. Не знаю, сколько раз взмахивал косой и как долго, но значительную часть поляны скосил. Поразительно радостное, давно не испытанное чувство, где многое сошло: ранняя юность, память, благодарная мысль о великом поэте, косовица на бывшей усадьбе его бабушки.

А от скорбного захоронного уголка — тяжелое впечатление. Со свечою в руке спустился в склеп — сыро, давяще, истинно могильно. Есть миротворные, небесному своду открытые могилы великих (Пушкин, Толстой...), здесь же — словно и сама душа его заперта в склепе. Но выбрался оттуда — снова лермонтовское бессмертие! «Темный дуб склонялся и шумел...»

А покинув Тарханы, вновь предался очарованию скромных далей, убранных и неубранных хлебов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Да, именно так: «Когда волнуется желтеющая нива, / И свежий лес шумит при звуке ветерка, / И прячется в саду малиновая слива / Под тенью сладостной зеленого листка... / Тогда смиряется души моей тревога, / Тогда расходятся морщины на челе, — / И счастье я могу постигнуть на земле, / И в небесах я вижу бога».

ТАМБОВСКАЯ МАРА — ИМЕНИЕ БОРАТЫНСКИХ

Снова Тамбовская область, Кирсановский район, бывший обширный уезд со множеством культурных гнезд (вплоть до Тархан), основная, богатая лесами территория восстания крестьян на Тамбовщине — Антоновского мятежа, жестоко подавленного раннебольшевистскими полководцами — Тухачевским, Якиром, Уборевичем. **Кирсанов** — и поныне небольшой городок на правом берегу реки Ворони. Поездка в деревню Софьинка на реке Вяжля, в имение Боратынских. В первый день августа — одна краеугольная для отечественной литературы усадьба, на третий день — другая. Называется — **Мара**. Была обширная, в пятьдесят десятин усадьба — роца, «замок» и деревянный дом, водовозная булыжниковая дорога через овраг, перекидной мост. Липовые, березовые аллеи, дубы, рябины и черемухи. Кроме белой неистребимой сирени, остальное — утраченное, разрушенное. На выгоне — фамильное кладбище. Сопровождающий меня инструктор райкома (Николай Федорович Оглобин) не лишен краеведческой жилки, и, чувствуется, ему неловко, стыдно за представшее нашим глазам: фамильное кладбище варварски поругано, склепы разворочены, могильные плиты разбросаны по косогору. Подошли к ближайшей. Оказалось — надгробная плита младшего брата поэта. Надпись: «Сергей Абрамович Боратынский...» Именно так — с начальной

гласной «о» — звучит фамилия, так ее и писал Боратынский, мой поэт — из любимейших. «И как нашел я друга в поколении, / Читателя найду в потомстве я».

Только после увиденного на кладбище я стал писать фамилию поэта через «о» (прежде надо мной довлела академическая традиция школьных и вузовских учебников литературы), хотя знал и ранее, что сам поэт подписывался: «Боратынский»; а Бунин в статье, посвященной столетию со дня рождения поэта, посчитал нужным сделать примечание: «В словаре Брокгауза и Эфрона говорится, что правильнее писать “Боратынский”, а не “Баратынский”».

ВАГАНЬКОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ И ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР

Октябрь 1969 года. **Москва**, последняя командировка от «Молодого коммунара» (меня по направлению обкома — по предложению благорасположенного ко мне и моим страницам Ивана Иосифовича Киросирова, завсектором печати, — приглашают на редакторство в Центрально-Черноземное книжное издательство, с обещанием скорой квартиры). Серый осенний день, дождь не дождь, снег не снег, и брожу я среди железных оградок Ваганьковского кладбища. Могилы Даля, Саврасова, Есенина. Трудно избавиться от чувства, что как-то неуютно лежать поэту здесь — на кладбище, сдавленном промышленными комплексами столицы, среди теснящихся могильных оград, под мокрым небом. Нет того полевого раздолья, из которого он вышел и какое столь неповторимо воспел. На Новодевичьем кладбище я бывал не однажды, на Ваганьковском — в первый раз, и оно меня тяжело придавило. И вновь нахлынули мысли, созвучные толстовским мыслям в «Смерти Ивана Ильича». Вот огромная надгробная глыба из серо-розового гранита на могиле знаменитой конькобежки Инги Артамоновой. Мощно и летуче бегала она, словно забывая, что жизненный финиш един. Но нельзя же так думать, даже если все — суета сует и будущий неотвратимый тлен: устремляясь куда-либо за горизонт, всего себя отдавая любимому занятию, человек на временной для него земле создает прекрасное, доброе, сильное, и это — существенное!..

Тверской бульвар, 25, квартира 27. «Тридцать семь лет живем здесь. Все лучшее им написано здесь», — скажет Мария Александровна Платонова перед моим уходом. А собирался я навестить ее давно, да не решался, не желая быть в числе многочисленных надоедающих и будучи наслышан, что воронежцев она не особенно жалует за недостаточное внимание Воронежа к «жителю родного города». Но на этот раз то ли кладбище подействовало соответственно, и в вечерний час двадцать восьмого октября 1969 года я постучал в дверь платоновской квартиры.

И был долгий, доброжелательный со стороны Марии Александровны и радующий меня разговор — о Воронеже, о жизненной и творческой судьбе Андрея Платоновича Платонова, о его будущем. Ее оценки известных писателей-воронежцев — достаточно неприглядны. О самом Воронеже: «Поверьте, боюсь я в этот город ехать. Боюсь, что там ничего не осталось от нашего, довоенного времени. Сейчас все города на одно лицо, вернее, ни у одного города нет своего лица, как нет его и ни у одного театра. Сейчас все города одинаковые, все театры одинаковые, скоро все люди будут одинаковые... А вы всегда заходите!» — приглашала, провожая меня.

И через три дня, побывав на Бородинском поле и еще в нескольких подмосковных духовно-исторических уголках, я снова позвонил ей. «Приходите вечером, посидим-поговорим какой час». Но проговорили мы с ней часа три, допоздна, и снова разговор шел о платоновском творчестве (Мария Александровна показала мне папки с неопубликованным, дала в руки на короткий пролист «Котлован»,

«Ювенильное море», «Чевенгур»), о толкователях и лжеистолкователях творчества Платонова, о «новаторских» постановках его пьес. И Мария Александровна возмущалась. Сказал ей, что недавно посмотрел в театре на Таганке пьесу: Высоккий, бросающийся на цепи, — впечатляет; может, им бы взяться за платоновское. Она ответила резко: «Мне рассказали, как на Украине какой-то прыткий режиссер “новатор” платоновские и содержание, и настроение изувечил! Намного лучше было бы опублковать всего Платонова, издать его в книгах».

ВОЗВРАЩАЯСЬ ИЗ МОСКВЫ

Возвращаясь из Москвы, всю ночь не спал, переполненный впечатлениями. Думал о моих четырех годах, проведенных в газете, вставали перед глазами служебные, а подчас и саможеланные поездки по районам области и иным «градом и весям», часто — без всяких дорожных, транспортных, бытовых мало-мальских удобств; в дождь, или снег, или континентальную жарынь — хождения от реки к реке, от села к селу, от одного угасающего хутора к другому. От одной порушенной усадьбы к другой порушенной... Разумеется, вспоминались встречи городские, литературные, по-разному мною воспринятые именитые фамилии: серьезные и неоспоримые в культурной жизни — писатели Николай Алексеевич Задонский, Владимир Александрович Кораблинов, Юрий Данилович Гончаров, Гавриил Николаевич Троепольский, поэт Владимир Гордейчев; по доброму — Виктор Панкратов, впервые опубликовавший в «Подъеме» мой очерк о Люся Бахарева, задиристый, искренний Олег Шевченко и более их известный Эдуард Пашнев; моя душевная приязнь — художники Криворучко и Успенская (я был среди близких на их свадьбе), Лихачев, Пономарев, Пресняков, многие ученые из разных сфер, генералы Русецкий, Волознев...

Вспоминал и мои отношения с коллегами-сослуживцами: наиболее близкие — Стас Никулин, Виктор Чекиров, Анатолий Морозов, Толя Костин; редкие, но дружеские — Вячеслав Ситников, Владимир Гусев; приятельские — Ян Шейхет, Валентин Семенов, Владислав Аникеев, Галина Абросимова, Эмма Худякова, Игорь Александрович; хладно-теплые — Владимир Котенко, Леонид Коробков. А к Стасу я даже приезжал, когда он свой отпуск проводил в Острожском, мы много говорили о поэзии, он выпускал поэтическую полосу «Гренада», где публиковались чаще молодые стихотворцы разноуровневых дарований. Даже нечаянные встречи вспоминались. Так, однажды трое на просторной лестничной площадке — Прасолов, Жигулин и Семенов, — фотографируясь, приглашали и меня стать в их ряд. Но я вообще не охотник «запечатлеваться», еще и торопился с Толей Костиным на срочное редакционное задание — снимать самые большие шины в стране и тех, кто их изготавливает.

Вспоминал и думал, что же доброе, нестыдное оставалось от моей журналистской страды? На что душа откликнулась? Защита природы, памятников истории, культуры, знакомство читателя с полузабытыми именами и усадьбами. Но понимал: более всего дали пищу моим чувствам и размышлениям, ненаписанным строкам люде сельского мира: от них не только многое услышал, увидел — я пережил их судьбы и чувствовал, что о них, деревенских пахарях и воинах, женщинах-страдалицах и страдалицах, мог бы и должен написать честное серьезное повествование. Также уже виделась общими очертаниями книга о памятных местах как духовном достоянии Отечества, об усадьбах: Святогорье Пушкина, Мара Боратынского, Тарханы Лермонтова, Озерки Бунина, а еще духовные святыни Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля, Москвы, Костромы, Ярославля. Добротню написать эти книги, будучи в постоянных редакционных бегах и разъездах, вряд ли уда-

лось бы. Я решил уходить из газеты, да все откладывал, пока моему колеблющемуся душевному состоянию не явился очевидный повод для ухода.

В **Новой Усмани** проходил межрайонный фестиваль песни и пляски, меня редактор попросил дать фоторепортаж оттуда. Я фотографировал шумную открытую сцену с разных углов и точек, приседая и так и эдак, и на это ушел битый час, если не более. И вдруг резкая мысль — как бритвой по сердцу: на что время уходит? Эти фестивали будут еще тысячи раз, и в сотнях разных фотографий пропечатают их, но кому известные пахари-воины, но женщины-страдницы, но память о забытых именах и усадьбах?! Я зачехлил фотоаппарат и в тот же день объявил редактору о своем намерении уйти на вольные хлеба. «Не спеши, — сказал Дубровин, — нужен надежный кусок хлеба, нужна приемлемая служба. Ты не думал об издательстве?» Я сказал, что по приезде из Чечни меня звали в оное на редакторское испытание-собеседование, даже дано было некое обещание, но не сложилось. «Надеюсь, теперь сложится», — сказал редактор, будто что-то ведающий на сей счет. Через три месяца я был приглашен в Центрально-Черноземное книжное издательство на редакторскую должность и даже — с обещанием квартиры.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — ПРОЩАЯСЬ И ОСТАВАЯСЬ

Прощальный вечер в «Молодом коммунаре». Провожали меня трогательно, весело, до полуночи. Женя Дубровин произнес шутливый тост о нешумливом человеке, замученном ветеранами, но теперь распрямляющем крылья. Пришлось в ответном слове тоже прибегнуть к жанру шутки, дескать, теперь нам с Дубровиным как редакторам (с переходом в издательство я обретал редакторский статус) обоим гореть в одном круге ада, уж не сгорят ли там и наши крылышки...

(Ностальгический взгляд через годы. Две сильные послевоенные творческие волны выносили на гребень общественного внимания и признания воронежский «Молодой коммунар». Первая волна — когда в 1952 году редакцию молодежной газеты возглавил Борис Иванович Стукалин, будущий министр печати СССР, известный подвижник газетного и издательского дела в стране. Объединил он в редакции народ незаурядный: Владимира Кораблинова, будущего летописца земли воронежской, автора «Жизни Кольцова» и «Жизни Никитина»; Василия Пескова, которому годы спустя предстоит как корреспонденту уже «Комсомольской правды» изъездить, исходить весь мир и рассказать о том в замечательных книгах; Алексея Прасолова, тогда приглашенного редактором на должность корректора, уже писавшего стихи, в которых угадывался будущий большой поэт. В те поры забредали на коммунаровский огонек Анатолий Абрамов, Юрий Гончаров, Анатолий Жигулин, Николай Коноплин, Гавриил Тропольский, Михаил Тимошечкин, Алексей Шубин, каждый из которых позже оставил неповерхностный след в литературной жизни.

Вторая волна — когда в 1965 году «Молодой коммунар» стал крупноформатным. До того в редакции уже работали Владимир Гусев, Владислав Аникеев, Владимир Петропавловский, Анатолий Костин, Галина Абросимова, Светлана Филюшкина, Эмма Худякова, Юрий Мецгерин, Валентин Семенов, Станислав Никулин — многие из них и составили редакционный костяк новоформатного издания. На переходной поре удачно влились в редакционный состав Евгений Дубровин, Вячеслав Ситников, Ян Шейхет, позже — Анатолий Морозов, Виктор Чекиров, Владимир Котенко, Леонид Коробков, Игорь Александрович, Валерий Алтунин, фотокор Саша Долманов, который погиб в двадцать лет в командировке, выполняя редакционное задание; еще позже — Пятерим

Варфоломеев, Эдуард Ефремов, Виктор Перегудов, Виталий Жихарев, Владимир Новохатский, Иван Щёлоков, Владимир Колобов и иные, с кем теперь читатель встречается на газетных, журнальных страницах, не только воронежских.

Вскоре после перехода молодежной газеты на большой формат стал коммунарцем и я. Журналистика представлялась мне тогда чем-то гораздо большим, чем она есть на самом деле. Как-то отходило в тень (да о многом и не знал), что пресса не может быть свободным выражением свободной воли свободного человека, что она нередко — «нанятой адвокат», вернее, как и адвоката тура, по большей части, «нанятая совесть»...

Я тогда близко не был знаком ни с одним из воронежских писателей, хотя имена Задонского, Кораблинова, Троепольского были на слуху, а страницы их книг с разной степенью интереса читал еще в ранней юности. И так случилось, что с Задонским встретился уже на второй день коммунаровской службы, едва обустроив свой угол и разложив бумаги на письменном столе.

Зычноголосый, грузный, опираясь на палку и постукивая ею, он вошел шумно, поздоровался и тут же заговорил о разном — словно весь век был знаком со мной. Принес он главу из будущей книги «Жизнь Муравьева», меж делом щедро прочитал целую лекцию о декабристах, попутно рассказал две-три литературные бывальщины. Как только он ушел, я взялся за рукопись, решил сразу же подготовить ее и сдать в секретариат. Но явилось что-то непредвиденное, срочное, вернулся к рукописи лишь на второй день; однако на столе ее не обнаружил и в столе — тоже; перелистал бумаги, проглядел ящики — нигде не было. Словно кто унес ее, давно охотившийся за нею, как за Джокондой. Последующие утра я начинал с поиска — безрезультатного.

Через неделю, набравшись духу, позвонил писателю. Извиняясь, стал объясняться то ли насчет пропажи, то ли насчет кражи. «О чудак! — воскликнул Николай Алексеевич, — нашел из-за чего печалиться. Да у меня полдюжины экземпляров этой главы. Сейчас принесу», — сказал он так, будто последняя находилась в соседней комнате, будто и не надо было снова подниматься на высокий пятый этаж Дома книги, где располагался «Молодой коммунар». Скоро он открыл дверь, выложил третий или какой там экземпляр злополучной для меня главы, ударился в воспоминания о нравах журналистов революционных лет, вспомнил о Бахметеве и Платонове, с которыми в молодости был дружен.

После его ухода я тут же подготовил рукопись, отдал в секретариат. А дальнейшее — как невероятное. Словно повинувшись некоей необъяснимой силе, из-под письменного прибора приподнял стопку белой бумаги... под стопкой спокойнонехонько лежала та самая первопринесенная глава, которую я столь безуспешно искал.

Позже в издательстве мне пришлось быть редактором рукописей и книг писателя, отношения наши складывались разны, подчас трудно, но и поныне признательно помню ту веселую, снисходительную терпимость, с которой он воспринял мою оплошность на первой неделе службы в «МК».

Молодость всегда хороша своими надеждами, иногда грустна своими заблуждениями, чаще прочего сильно неумолимостью и дерзостью. С трудом сейчас верится, что в ночь-полночь, дождь ли, снег, по своей или редакторской воле, не задумываясь, мог устремиться в самый дальний, захолустный район области, мог тягучими осенними часами где-нибудь на глухоманном полустанке дожидаться поезда на Воронеж, мог всю ночь бродить по полю Куликовым или полем Бородинским, горестно вдыхая их былые гулы, не зная усталости; мог, наконец, сутками не спать, отдавая от своих поездов впечатления и размышления чистому листу, срочно готовя строки для ближайших газетных полос.

А дерзость собственного, своевольного взгляда, пусть и наивного, но ни для кого же не вредного! За дерзость не жаловали. Подчас опальными оказывались статьи, даже малые заметки, где с грустью и надеждой обращался к старинным усадьбам, храмам, к порушенному, ратовал за полузабытые имена, музеи, еще и в планах не существовавшие, которые позже открылись и ныне здравствуют; крамольной воспринималась попытка провести диалог с епархией или тематические диалоги, литературные встречи, посвященные опальным именам. Молодежная газета и каждый из нас были под строгим «попечительским» приглядом местной власти.

Но зато часто выпадала счастливая возможность (деньги на командировки в редакции всегда выдвигались) развезжаты по области, по всей стране. Ведя культурно-духовные и экологические рубрики и страницы, я побывал во многих достопримечательных природных уголках, знаменитых «культурных гнездах»; да и просто выдавались командировки неожиданно содержательные, весело или грустно незабываемые.

Острогужск — моя первая и счастливо памятная, плодоносная командировка. Оттуда привез скоро напечатанные Воронежем и Москвой строки, которых и теперь, треть века спустя, не стыжусь, привез и снимки, которых теперь уже никому не сделать: ни легендарного Провала (Провальни) — спуска к Тихой Сосне, — ни старинных торговых рядов, ни того гребешка верб вдоль бывлой речки Острогужи уже нет. Нет — такова уходящая наша жизнь — и многих из тех, с кем тогда повстречался, кого мысленно благодарил и кому кланяюсь и поныне: ушли матери, чьи молодые сыновья посмертно стали Героями Советского Союза, ушли и еще не старые тогда фронтовики, покоятся на сельских погостах крестьянки-труженицы, которые меня, уже захваченного суетою сует, вновь вернули к крестьянскому, корневому, изначальному.

Да все они памятные, те командировки: Прибалтика, Москва, Великий Новгород, Брянск, Волга — Ярославль, Горький, Нижний Дон, Белгородщина, Тамбовщина, Пушкиногорье...

Во всякую погоду, в любую даль — без долгих, с ходу, в убыстренном шаге!..

Но иногда выпадали благословенные часы, когда номер раньше срока бывал подготовлен, и нам никуда не надо было торопиться, разве что в «Улыбку» — на стакан холодного сухого вина. Тогда мы собирались в редакционном «штабе» — кабинете ответственного секретаря, поэта Станислава Никулина, где был приставлен еще и стол художника Юрия Зиброва, и заваленный бумагами, газетами, фотоснимками кабинет был явно тесен. Но нам не было тесно... В редакционном коридоре раздавались голоса Гордейчева, Жигулина, Прасолова, впервые звучали теперь ставшие хрестоматийными стихи.

А что же наша волна? Всею своей черед. Наступил час, и мы стали уходить кто куда, жизнь разбросала нас. Но, встречаясь, по-прежнему чувствуем себя младокоммунарочками. Временами, наверное, многим из нас кажется, что мы все еще в тех командировках... И как жаль, что пытливым, талантливым нынешним журналистам не суждено изведать этого чувства, потому что чиновные манкурты бездумно уничтожили «Молодой коммунар» — газету уникальной истории и славы.)

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК

На сотнях книг, выпущенных Центрально-Черноземным книжным издательством, на титульных листах стоял его скромный, со вкусом исполненный знак — пятилистник. Каждый листик — название области, которая в Воронеже печаталась. Знак создал художник Леонид Клочков (Летов), бывший военный летчик,

едва не погибший в катастрофе на Урале. Он иллюстрировал несколько моих книг, и газета «Воронежский университет» (в последние годы он работал в университетском издательстве) после его смерти писала: «Иллюстрировал Чехова, Кольцова, Брэдбери, Платонова, Будакова...», — пусть по реальности и так, но то ли напрягает, то ли заставляет грустно или иначе улыбнуться этот принцип подсоединения, отмеченный Палиевским в его блистательной статье «К вопросу о гении».

Мне казались непоэтичными названия издательств, занимающихся делом в общем-то поэтическим. Кроме увесистого Центрально-Черноземного, по звучаниям-названиям ничем не лучше были и Северо-Западное, Западно-Сибирское, Восточно-Сибирское, Южно-Уральское. Сплошные географические указатели. Когда были областные — четче и удобней: Воронежское, Курское, Белгородское и т.д. Их можно было бы назвать и по великим именам, событиям, достопримечательностям той или иной области: Воронежская — «Край Кольцовский», Тульская — «Ясная Поляна», Орловская — «Спасское-Лутовиново», Ростовская — «Тихий Дон», Брянская — «Овстуг»...

Я не смог сразу привыкнуть к издательской среде, медлительной, требующей затяжных сидений над авторскими рукописями, и с полгода каждый день, в обед, спешил в «Молодой коммунар», в редакционном секретариате отводил душу разговорами с моим добрым товарищем-другом, поэтом и ответственным секретарем Стасом Никулиным. Но постепенно стал привыкать, у меня появились «издательские» идеи, услышанные коллегами, косяком пошли авторы и рукописи, начались командировочные поездки по Центрально-Черноземному краю.

ПЕРВАЯ ПИСАТЕЛЬСКАЯ ПОЕЗДКА

Первая писательская поездка — **Павловск** — в зимнем начале 1970 года — я, Валера Мартынов и старший годами Иван Матюшин. Он обилеченный писатель, автор трижды издававшегося романа «Калинов ключ». *Позже его роман «Горюч камень», весьма посредственный, мне пришлось защищать в цензуре: хотя я и не был редактором книги, но причастные женщины-редактрисы упросили меня объяснить с цензурным ведомством, поскольку мне уже не раз приходилось доказательно отстаивать писательские труды, правда, более высокого уровня; здесь же было много уязвимого содержательно и даже художественно, и мне доставило немало неприятных минут вести диалоги с цензурой, защищая слабые страницы, в которых был неповинен.*

В Павловске нас принимает первый секретарь партийного райкома Олег Кириллович Застрожный, который предоставил нам возможность битый час оценивать его декламаторский дар — терпеливо выслушивать чтение им стихов Маяковского. Любитель поговорить о литературе.

После встречи я прошелся по уездному городку, припоминательно узнавая здания и прибереговые откосы, ставшие близкими еще с солнечных недель пионерского лагеря, в котором отдыхал после седьмого класса пятнадцать с небольшим лет назад. Пионерский лагерь располагался в головной школе — бывшем реальном училище, архитектурно заметном: красиво купольном, фасадно удлиненном, с двумя рядами больших, поверху овальных окон. В лагере мы совершали походы по близким и дальним историческим уголкам, и здесь приобреталось мое новое историческое знание. На спортивных соревнованиях я оказался первым по нескольким видам, а на купаниях в озере Тахтарка, среди девчонок, на глазах удививших в девушки, меня и моих сверстников воспринимавших то с девичьей нежностью, то с некоей разноречивостью чувствований, подчас неожиданно враждебных, усиленно подвигалось и мое психологическое, душевное — да и телесное взросление.

Донская незадачливая экспедиция «Молодого коммунара» (с двенадцатого июля). При подходе к Малышевской переправе в двух точках было пробито днище катерка, на котором мы надеялись дойти до Вешенской, а может, и до самого устья Дона, зелеными рукавами втекающего в Азовское море. После «кораблекрушения» дальнейшее наше рекоплавание стало условным: добираться в донские низовья предстояло или пешим ходом, или же машинами — именно машина подбросила нас к первой пристани — в село **Костенки**, на коем я и решил завершить свое участие в экспедиции ввиду ее искусственности, «невсамделишности», пожалуй, явной комичности, а также из-за разнохарактерной, душевно и нравственно чуждой команды (Котенко, Недель-Леденев...), к которой меня как «знака донского пути» уприсил присоединиться редактор «Молодого коммунара».

Костенки — село знаменитое, во всем археологическом мире известное как «жемчужина палеолита», переполненное легендами, раскопками, костями мамонтов, часть которых Петр Первый велел доставить в кунсткамеру — главный музей новой русской столицы на Неве. Раскопки, начатые век назад, не сворачиваются, и много всяческих диссертаций защищено на Костенках, и многие серьезные ученые подвизались и подвизаются здесь. В это лето руководят раскопками Алексей Николаевич Рогачев и Николай Дмитриевич Прасолов, много любопытного порассказали. Я и не знал, что в древности в семикилометровой пойме Дона жили степные ширококопытные лошади, и первобытные поселенцы будущих Костенок охотились на них значительно чаще, нежели на мамонтов; на последних же — так, как современные пигмеи расправляются со слонами: или подрезают им сухожилия, или копьём пробивают мочевого пузырь. Да... пигмеи и слоны. И кто в победителях и где они, победители?

Заночевали мы у самого берега Дона в спальных мешках — близ одной из раскопанных древних стоянок. На противоположном берегу темнели лозняки, за ними простиралась луга и леса — до самого Нововоронежа. Всю ночь над нами и, казалось, над всеми странами холодно дышала огромная луна. Мне не спалось, мне чудилось, что я вижу и тяжелый железный мираж Нововоронежской атомной станции, и первобытных поселенцев, из близких стоянок гуськом выбредающих на предутренние кровавые охоты. Утром тихо всходило розовое солнце, в тумане оно выдилось, как поплавок на необозримой реке. Туман стлался по Дону, туман стлался по России...

(По дороге из Воронежа на Россошь и обратно мимо недалеких от областного центра Костенок проезжал на своем «Жигуленке» десятки раз, но только треть века спустя вновь побывал в них: один из летних дней 2003 года мы с Василием Михайловичем Песковым полностью отдали мировой археологической жемчужине.

Музейное, кубических форм здание храняще укрывает древнюю стоянку — жилище, выложенное из костей мамонтов. Куда-то подевались наши авторучки. Директор музея подает неточные карандаши, а для заточки — осколок древнего кремневого наконечника, разительно острого. Карандашом, отточенным столь необычным образом, Василий Михайлович записывает рассказ про здешнюю древнюю жизнь. После услышанного спускаемся по лестнице к древней стоянке, и Песков долго фотографирует следы былой, давно утекшей жизни.

В музейном зале — полумрак. А когда выходим наружу, нас встречает осеннее солнце, мягкое и радушное. Звонит детский голос, гудит трактор, проносятся три празднично украшенных легковушки. Из глубокой древности возвращаемся в нынешний день.

День тот выдался счастливым. Прежде на протяжении долгих лет нам выпадало говорить о разном, о многом, и нередко — в озабоченности иными срочными делами. На этот раз Василий Михайлович никуда не торопился, на нас обоих словно бы воздействовало дыхание истории, долгого пути, пройденного людьми с древности. Мы словно суммировали наши прошлые встречи и разговоры и беседовали — все больше о малой родине, Воронежском крае и его соотносительности со всей Россией и со всем миром.)

ПО БУНИНСКОМУ ПОДСТЕПЬЮ — С ПИСАТЕЛЕМ ГОНЧАРОВЫМ

Июль 1971 года — поездка с писателем Юрием Даниловичем Гончаровым по бунинскому подstepью. Семнадцатого дня — долгая остановка в былом уездном городке **Задонске**. Благословенный городок, не даром в добольшевиcтские времена назывался «Русским Иерусалимом». Побывали не только на просторных дворах Богородицкого монастыря, но и в главном соборе, где еще несколько десятилетий назад покоились мощи святителя Тихона Задонского, а ныне — заводской склад; прохладно, затхло, воркуют голуби, пробивает солнечный луч, как луч на экран, росписи почти не сохранились. На задах собора — черная мраморная плита на могиле Муравьева-Карского, военачальника, о котором я в недавнюю бытность давал в газете главы из будущей книги Задонского «Жизнь Муравьева».

Елец, остановились у Тихой Сосны, на окраине, а далее — **Становая**, не раз упоминаемая Бунинным станция, ничем, пожалуй, не примечательная, разве что неподалеку поэтически именуемая речушка-малышка Колодезь с каменистым дном, холодной водой и рыбицей-селявкой.

Село **Злобино-Воргол** — на иссеченных овражками склонах яра-оврага, по дну которого протекает речка Воргол. Избы в зелени. Покровская церковь, у ограды которой похоронены близкие родственники Бунина, — полуразрушена, в ней мастерская, обслуживающая колхозный механический парк.

Возникшие в первой четверти девятнадцатого века **Бутырки** назывались еще Владычино, в бунинском рассказе — Лучезаровка. Аполлонов Верх, Смыгаловка, Крутой лог, отвершки Безымянный и Поздневский.

Деревня Озерки — юность Ивана Бунина, первые стихи, первые опубликованные строки, первая страсть. Пруд, при берегу которого располагалась усадьба, ныне уже неотъемлемое эмоциональное, топографическое явление отечественного литературного мира.

Каменка-Бунинская — прообраз «Суходола» — еще живая деревня. Избродили заокочичные окрестности, прошли по дну-руслу пересохшей речки Каменки, поднялись к усадьбе — там ныне частные огороды, а так пустошь, томящие предвечерние запахи трав, белеет зонтиками тысячелистник, желтеет донник, рядом с польнью цветет нивяник — так ботаники называют ромашку, внизу — пруд, колодец, куда ходят за водой из трех деревень. По высохшему руслу — валуны, камень на камне. Юрий Данилович заночевал в «Москвиче», а мне достался нечаянный топчан в пустом овечьем хлеву с невыветриваемым запахом овчины, пыли, древесной и соломенной ветхости. Сквозь дырчатую крышу виднелись звезды, и застывшая допотопная обстановка не давала уснуть. Я вышел во двор и присел на комель. Зарницы, словно несущиеся к земле подбитые горячие лайнеры, чертили огненные рассыпчатые следы крушений. Как бы незримый приговор человеку: «Если мы не вечны, что же ты, человек, суетишься, забывая про неизбежный конец?»

Васильевское — большое село, разбитая церковь. Когда-то сокровенное Болдино бунинского творчества, здесь написаны и «Деревня», и «Суходол». Невдале-

ке на взгорье — **Коллонтаевка**, с недавней поры белая. Да и по всему подстепью — призраки былого, ушедшие или уходящие, угасающие деревни, хутора. Грустное, спокойное доживание. **Польское** — в два десятка изб, в два пруда хуторок. И ни одного колодца. Когда немолодая женщина, познакомясь с приезжими, обратилась к соседке: «Настя, вот приехали — старину проверяют», — та ответила: «А чего ее, прошлую-то жизнь, узнавать, тут нынешней не рад». Когда спросили ее, откуда воду для питья берут, сказала не без усмешки, будто отмахиваясь от докучливых, сторонних: «А вот, милые, целых два пруда!» И далее: «Если из Озерок не привезут бочку, так, навроде коровок, и пьем из этих прудов».

Привозят воду из Озерок и на вымирающий хутор **Круглое**, где из сорока изб три четверти — с заколоченными окнами, а на ветлах и пепелищах — воронье. Без воды и **Огневка** — знаменитая бунинская «Деревня»: всего два колодца на длинный ломаный ряд изб.

Кто бы из прошлых столетий поверил, что в среднерусской полосе, в краю, который омывают Дон и Ока и струят (струили в прошлых веках) сотни речек, тысячи родников, потомки станут так нуждаться в питьевой воде, как если бы понадувалась пустыня Сахара...

НА КАТЕРЕ — ОТ НОВОЙ КАЛИТВЫ ДО ДЕРЕЗОВКИ

Лето 1971 года, конец июля. Поездка с Эллой, пятилетним Игорьком и учителем-историком Иваном Ивановичем Ткаченко по Дону вниз от Новой Калитвы. Всевыручающий катерок радостно тарыхтит, и у меня радостное настроение: плывем мимо всегда для меня родных донских берегов — поэтичных, мягко-живописных.

В **Дerezовке**, кроме учителя, которому надо было дальше, мы сходим на берег. Вечерний час. Нас ждет Василий Белокрылов, писатель, мой товарищ по Новокалитвенской средней школе. Элле и Игорьку понравились виды Дерезовки, ее окрестности, Стародонье, остров, задонские дали, напоминающие нижнекарабутские. Долгий душевный разговор с матерью Василия, и почти всю ночь проговорили с Василием (о журналистике и писательстве, но более всего о родном крае, не столь давней школе, более отдаленной войне, здесь гибельно уложившей тысячи «душ человеческих, созданий Божиих», выражаясь словами одного из сказаний о Куликовской битве).

Утром за нами приехал на «Запорожце» товарищ дней студенческих Эдуард Баранников, и вскоре мы были в **Богучаре**, где нам обещан хороший отдых на природе. И действительно двухдневный отдых на обоих берегах Дона выдался отменным!

ПОДМОСКОВНОЕ ПЕРЕДЕЛКИНО

Октябрь 1971 года — официальное приглашение на семинар публицистики и очерка. **Москва**, подмосковное **Переделкино**, Дом творчества писателей — двухэтажное, с колоннами здание. Повсюду (и на входе и внутри) — надписи, справедливо призывающие к тишине, дабы не мешать творцам творить.

Вниз от Дома творчества — лог, протекает речушка-ручей, а дальше, на взгорье — кладбище и златоглавая церковка. На исходе кладбища — три больших сосны, у корней их — могила Бориса Пастернака, на которой вертикальная желтовато-молочная, вверх расширяющаяся плита с барельефом поэта. Поблизости — могила Корнея Чуковского под простым деревянным крестом, и сколько еще могил, и кто покоится здесь? Вдалеке — синий мрачный хвойный лес. Стылые тучи, ветер,

холод, нагота берез — «глухая тоска без причины», или опять подступает чувство неприкаянности, непередаваемой боли и необъяснимой своей вины не только за свои грехи, но и прошлые, настоящие и будущие грехи людские. Зачем я здесь?

На семинаре перед нами выступают литераторы — известные: Сергей Наровчатов, Людмила Татьяничева, журналистские асы: Леонид Иванов, Георгий Падерин, Борис Агапов, Георгий Радов, Анатолий Аграновский, Аркадий Сахнин... Иные сказали дельное, иные — не позабыли и покрасоваться. Забавное зрелище. Но в целом — спасибо!

С первого дня знакомства, а тем более наслушавшись столичного элитарного журналистского поучительства, я и Володя Личутин, самородок в слове, сын Русского Севера, потянулись друг к другу. Увы, увы... По моей вине, нередкой моей самопоглощенности наша переписка свернулась.

Не могу простить себе и еще одной беспечности. Был долгий разговор с Владимиром Алексеевичем Солоухиным о памятных местах Отечества, разоренных и не разоренных, было понимание и его соучастливое внимание к моим страницам об этом; он предложил мне дать их на обстоятельное прочтение и дальнейшее продвижение, я пообещал, на том все и закончилось.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ЕВГЕНИЕЙ АНДРЕЕВНОЙ СНЕСАРЕВОЙ

(Очному знакомству с дочерью великого русского геополитика, военного мыслителя и деятеля, ученого, педагога Андрея Евгеньевича Снесарева предшествовала длительная переписка. В те поры я только подумывал через книгу рассказать о Снесареве, и Евгения Андреевна с радостью и благодарностью откликнулась на мое намерение дать в будущем повествовании образ ее отца на фоне исторической судьбы России. Уже в начальных письмах виден и ее образ — беззаветно преданной отцу, благодарной тем, кто обращается к его имени.)

«14 июня 1970. Дорогой Виктор Викторович! С чувством глубокого волнения и признательности прочтала я Ваш очерк. В нем написано все правильно, тепло и с какой-то личной приязнью к описываемому человеку... Из Ваших строк папа глядит настоящим и невьдуманным. Вы хорошо его прочувствовали, и это передается Вашим строкам. Очень приятно, что о нем прочитают люди, и он встанет перед ними во весь свой рост...»

«22 июля 1970. Дорогой Виктор Викторович! Я очень, очень рада, что отец заинтересовал Вас чисто профессиональным образом. Мне кажется — это один из тех людей, о которых можно и стоит сказать. Конечно, мы были бы очень благодарны Вам, если вы найдете нужным познакомить читающую публику с ним...»

«2 мая 1973. Дорогой Виктор Викторович! Большое Вам спасибо за присланную Вами книжку “Далеким недавним днем”. Я с огромным удовольствием ее прочтала... Они очень человечные, те люди, о которых Вы рассказываете, очень во плоти и крови и чуть-чуть грустные, как русские песни...»

Поздней осенью 1973 года мы встретились на Ломоносовском проспекте (дом № 80), где в трехкомнатной квартире на четвертом этаже размещалась семья Снесаревых. Ее брат Андрей Андреевич и его дети находились на Курильских островах, и как символ мирового океана с его морями, островами, утесами и кораблями в большой комнате стену занимали карта мира и корабельный руль.

В Евгении Андреевне сразу чувствовались человеческая талантливость, искренность, глубокое историческое знание, выказанные уже при первой встрече. *(И позже, на протяжении почти трех десятилетий, я имел счастье быть одаряемым ее редкостной доброприветливостью, сердечностью, душевной открытос-*

тью; всякий раз, приезжая в Москву, останавливался в ее гостеприимном доме; мы исходили московские уголки, где Снесарев учился, жил, работал, мы вели долгие беседы о судьбе великого человека и великой страны. Кое-что я ей зачитывал из написанного мной про ее отца.

Далее — грустная строка, переходящая в иную. Обещанной книги Евгения Андреевна так и не дождалась. Но через годы вышедшее в свет мое документально-художественное повествование «Честь имею. Геополитик Снесарев: на полях войны и мира» посвящено именно ее истинно светлой, высокой памяти.)

ВАЛЬС «НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ» И МЕТЕЛЬ В ТАМБОВЕ

Последний день января 1973 года. Тамбов. В предвечерье (какая метель!) с Василием Кравченко, подающим надежды писателем, навестили Антонину Михайловну — вдову Ильи Алексеевича Шатрова, создателя знаменитого вальса-реквиема «На сопках Маньчжурии». Предкомнатка-кухонька с горкой хлебных кусков и горница-комнатка, на «красной» стене которой — портрет Шатрова и веер цветных открыток, стол, кровать — все скромно, выглядит бедно, убого, запущенно. Каждый день, беря в близкой столовой недоеденные куски, подолгу кормит голубей. А в воскресные дни — говорит не без достоинства, с тихой гордостью — хлеб покупает за свои деньги и не оставляет евангельских птиц голодными. Рождение трагического вальса она не могла видеть. Разве что при ней была создана «Голубая ночь в Порт-Артуре», посвященная нашим воинам победного сорок пятого года. Печаль главного вальса, по ее словам, может, predetermined и личной невеселой судьбой. Илья Шатров ухаживал за дочерью ее тетки, намеревался жениться, но Лиза умерла быстро, от саркомы, и тогда женой ему стала Лизина мать, которая родила ему двух детей и через десять лет тоже умерла. В 1923 году он женился на Антонине Михайловне, и прожили они вместе без малого тридцать лет. Жили чаще всего трудно, при скудных деньгах. «После войны он не работал, часто грустно над собой подшучивал, мол, я супник, нахлебник у кормилицы моей, сестры милосердия, — я тогда действительно работала медсестрой».

Никифоров, коллекционер, с которым встречались и в Воронеже, и в Тамбове, в его квартире-музее, где собрана всякая всячина от действительно художественно ценной до пустяковин, рассказывал мне, а ему один православный, еще старой школы професор рассказывал, что в межвоенные времена оркестры в многолюдных воскресных парках исполняли вальс «На сопках Маньчжурии», но не принято было танцевать, а все опускали головы — так велика была народная скорбь.

Снова выстраивал проспект антологической литературной библиотеки — издание произведений уроженцев Центрально-Черноземного края. В том же Тамбове — какие фамилии: Державин, Боратынский, Левитов, Жемчужников, Терпигорев, Сергеев-Ценский, Завадовский, Воронский, Новиков-Прибой!..

МОСКОВСКАЯ КОМИССИЯ

Приезд писателя Ивана Ивановича Акулова и литературоведа Эдуарда Львовича Афанасьева. Хотя оба работают в редакции художественной литературы российского Госкомиздата, но ничего в них — от проверяющей комиссии, ничего чиновного, казенного. Эрудированные, несуетные, крепко стоящие на земле. Душевность и духовность чувствуются скоро.

Рассмотрен мой проспект книжной серии. Предложил около пятидесяти имен, но решено дать тридцать. Поздней осенью — утверждение. Подготовиться к выступлению на коллегии российского Министерства печати.

Первого сентября 1976 года подписанное мне Иваном Ивановичем Акуловым «Крещение» — прочитал роман о войне почти безотрывно. Какая сильная книга, и как мало знаем друг о друге мы, причастные к литературной среде!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, «ОТЧИЙ КРАЙ»!

Конец ноября 1976 года. Командировка в Москву. Утверждение книжной серии «Отчий край» («Писатели Черноземного края») на коллегии Госкомиздата и правлении Союза писателей России. В целом приятие доброжелательное — и министерское, и писательское: Михалков, Бондарев, Залыгин, Викулов, Шевченко...

ВО ВСТРЕЧАХ НАШИХ — ГРУСТЬ

Встреча с Белокрыловым — не так давно он вернулся из Москвы, с Высших литературных курсов. Часа три-четыре в «Россиянке» — за сухим вином, затем у меня в гостях — душевная, но грустная беседа, от которой не захмелеешь. Исповедь его грустная: мучительное, постоянное угнетение, переживание от ухода жены к другому. Литературная ветвь разговора — обыденно информационная: не хочется говорить о красоте мировой классики, когда душа — под прессом всяческих невзгод, хвороб, измен, обманов.

В МАЛОМ ЛАВРУШИНСКОМ ПЕРЕУЛКЕ МОСКВЫ

Февраль 1977 года. **Москва.** С Эдуардом Львовичем (Володей) Афанасьевым — в гостях у Валерии Дмитриевны Пришвиной. Квартира в писательском доме в Малом Лаврушинском переулке, неподалеку от Третьяковской галереи. В квартире — старинная мебель, приобретенная Пришвиным еще до войны: комод-секретер, большой стол, пианино, массивный светильник. За окном шумела столица, в гостиной-столовой мы пили чай, разговаривали о разном. Вела слово по преимуществу Валерия Дмитриевна, а мы слушали эту умную, ироничную, тонко чувствующую и понимающую жизнь женщину. Чем-то — остротой ума, ироничностью, благоговейным отношением к делу своего мужа — напоминает Марию Александровну Платонову, и, глядя на нее и вспоминая других преданных жен своих великих на литературной стезе мужей, невольно вспоминаешь грустно примеченное сильным отечественным писателем: в русской литературе остались разве лишь вдовы. В одной из комнат у Валерии Дмитриевны — два сейфа, и, указывая на них, сказала: «Тут неопубликованное. А когда очередь дойдет, когда время настанет?..» Примерно так жаловалась мне и Мария Александровна, раскрывая папки с неопубликованным.

СТОЛИЧНЫЕ МУЗЕИ. И НЕ ТОЛЬКО ОНИ

Апрель 1977 года, **Москва.** Был приглашен на коллегию Госкомиздата — на утверждение тульской книжной серии, названной, как и у нас, «Отчий край». А еще полгода назад мои тульские коллеги посмеивались, дескать, что за патриархальщина — отчий край? Напоминает молитвенное Отче Наш. Так это же прекрасно, возражал им, что напоминает Отче Наш!

Снова музей Достоевского, музей Толстого в Хамовниках, Литературный музей.

Встреча на Ленинском проспекте на квартире писателя Дмитрия Анатольевича Жукова. Предложение ему — составить и написать предисловие к сборнику «Сочинения Козьмы Пруткова». Знаток старины, защитник русского мира, но до крайности однолинейный славянофил, а последние — и «плохие», и «хорошие» — нередко оказываются родными братьями. Выходило, по его запалу, что русской литературе десятки тысяч лет: вспоминал не только «Велесову книгу», но и ариев, в незапамятные времена якобы откочевавших из наших земель в Индию, ариев, у которых русских слов или им предшествующих прарусских было якобы гораздо больше, нежели древнеиндусских. Основная позиция: все западное — все дурное, зло исходит от иноземца. О «Сочинениях Козьмы Пруткова» сказал: «Это русский юмор — не сконструированный, не выстроенный, а духом родной земли рожденный».

(Через несколько десятилетий сын его — либеральный ли экономист, правительственно-думский деятель. Извороты семьи, страны, мира.)

У БАРАНОВСКИХ — ПОДВИЖНИКОВ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

В Историческом музее, узнав, что Мария Юрьевна Барановская, исследовательница русской старины и дела декабристов, находится на верхнем этаже в своем консультационном уголке, выправив пропуск, я долго поднимался служебными коридорами и витыми крутыми лестницами, и где-то высоко-высоко дверь открыла преклонных лет женщина со следами пережитого, наполненного житейскими испытаниями и болезнями. Мы с ней сошлись ненатужно, от природы она, чувствуется, добрая, достойная женщина, да еще, по матери армянка, по отцу оказалась землячка: ее отец — Черноземного края, курского села Плотова. Долго беседовали о русской старине, о декабристах (я в не столь давние дни с удовольствием прочитал ее книгу о Николае Бестужеве). Она благодарно улыбнулась и ответила, что многотитулованный академик Нечкина сказала ей: «Стоит ли заниматься им? Он какой-то холодный!» Это Николай Бестужев холодный?! За Бестужева ей присвоили звание кандидата исторических наук — вне обычных соискательских проволочек. А по жизни, по служебной деятельности, складывалось и трудно, и горестно. Сколько скорбных душевных раздумий, сколько горьких минут — при переносе останков Гоголя, Аксакова-отца, Веневитинова из гонимых монастырей в начале тридцатых! Да многое (здания, имена) сносят и поныне.

Приглашенный, на второй день побывал в гостях у Барановских в Новодевичьем монастыре. Спросил у некоего художника, где найти их дом, на что тот, мелкобородый, высокомерно ответил: «Здесь не жилой проспект, а монастырь». Все-таки дом, старинный, примонастырский, отыскался быстро, прилепленный к внутренней стене монастыря. В двухкомнатной квартире — всюду книги, книги. Большая подборка «Слова о полку Игореве». Говорили об именах Черноземного края — Веневитинове, Станкевиче, Боратынском. Вскоре вышел из другой комнаты ее муж и единомышленник Петр Дмитриевич Барановский — человек русский, человек легендарный. Это он, так уверяет патриотическая Москва, неожиданным образом спас назначенный Кагановичем к сносу прикремлевский, на Красной площади храм Василия Блаженного, забаррикадовавшись в его стенах; когда Сталину доложили об этом, тот якобы сказал, что храм надо сохранить даже ради такого чудака: подобные войны требуются России в самых разных областях и сферах. Но отсидеть стояльцу за русское дело все-таки пришлось — по так называемому «Академическому делу», куда карательными властями были «пристегнуты» выдающиеся отечественные историки, лингвисты, деятели культуры (Любавский, Платонов, Тарле, Богоявленский, Лихачев...) Петр Дмитриевич пригласил

сил нас в свою комнату на чай, и моему взору предстали сотни папок: все они о соборах, монастырях, церквях Руси — разрушенных, поруганных, реставрируемых, и реставрация многих не обходится без его папок, в которых документы, от руки ходатайства, заключения, замеры всего и вся в былом церковном великолепии. Дружен был со Щусевым, создателем Казанского вокзала, собора Сергия Радонежского на поле Куликовом, Мавзолея на Красной площади, приятельствовал с Жолтовским, склонным более к классическим архитектурным формам, нежели конструктивистским, авангардистским. А нынешний главный архитектор Москвы (Посохин) — губитель памятников старины, как выразился Петр Дмитриевич. Сам он, беззаветный защитник архитектурной и иной культурной старины, ощущает себя отжитым и прожившим жизнь почти впустую. «Что вы! — воскликнул я, — вы великое дело сделали и продолжаете делать!» — «А, крохи», — устало отмахнулся он. «Из крох образуется большое!» — «Когда-то и я, молодой человек, так думал. Теперь мне восемьдесят пять лет, моя последняя забота — восстановить колокольню Болдинского монастыря. А то больше разоряют да руют. Райсовет (экая могучая власть!) постановил закрыть в Коломенском возле церкви Иоанна Предтечи кладбище, насыпом вывозят кости, устроят очередной бульвар для отдыхающих, словно нельзя было отдохнуть под кронами берез в тихом, тенистом уголке погоста».

Они проводили меня, приглашая и на будущее в гости. Я вышел в монастырский двор, и глаза невольно потянулись в самую высь Смоленского собора. Наплывал чудесный вечер. А позади меня, в ветхих коммнатках, полных книг и папок, остались два замечательных человека, два подвижника отечественной культуры — еле волочащие ноги и словно всеми забытые. Со стадиона «Лужники» неслись быстрые, бодряческие команды, наверное, шли тренировки, готовились большие победы.

Снова я побывал у Барановских — почтить память Марии Юрьевны. Среди папок и книг, медленно разговаривая с крепко сдавшим Петром Дмитриевичем, до темна пробыв в этом уже никогда не повторимом крове русской культурной жизни.

ПРОХОДИТ ЖИЗНЬ

Вдруг бросилось в глаза: в моих записях, условно-дневниковых, часто натякаешься на слова «пусто», «скверно», «больно», «тяжело», «бессмысленно» и т.п. Некое кафкианское состояние...

Октябрь 1975. Скверно — и надолго... Суета, изматывающие встречи с авторами безнадежных рукописей. Да и редактируемые забирают часы, а на недавнем и нынешнем редактировании — «Лихолетье» Олега Кириллова, «Праздники» Людмилы Бахаревой, «Человек в коротких штанишках» Эдуарда Пашнева, «Лето красное» Игоря Чемекова, «Интересные собеседники. Любопытная старина» Николая Задонского, «Особое задание» Михаила Домогацких, «На дорогах жизни» Ольги Кретовой, «Дыхание весны» Владимира Евтушенко, «Встречи» Юрия Томашевского, «Причалы» Станислава Никулина, «Косари» Петра Чалого, «Чисто поле» — два сборника произведений Александра Левитова, Василия Слепцова, Александра Эртеля, Сергея Терпигорева, Георгия Недетовского (Забытого), Ивана Бунина, Бориса Пескова, Николая Романовского, Андрея Платонова, Петра Ширяева, Леонида Завадовского, Василия Кудашева... Романы, повести, рассказы стихи, литературно-критические статьи — разной степени талантливости и соответственного приложения моих времени и сердца...

Однако почему-то тяжело до безысходности. Мне нечего хорошего ждать? После заверенных рассказов «День японских песенок», «Зийшов мисяц над горою», «В былом уездном городе» — пустейшие дни. С утра — не знаешь, куда себя деть.

Состояние опущенных рук. Моление о духовной твердости... Стресс, пустой твой день, малозначимость которого лишь усугубляет наспех написанный сценарий для телевидения — о «Подъеме»... Организация выставки в Воронежском отделении Союза писателей, встреча и диалоги с писателями — мелкогато...

Профсоюзное собрание. На этот раз — пустая формальность; заседание местного, коего являюсь председателем... Насколько выматывают всякого рода заседания, совещания, особенно, когда два-три на день. Приходишь домой опустошенный: преследующе гудят за спиною услышанные и тобою сказанные, малозначащие в жизни слова...

А реальная жизнь идет и летит, реальная служба требует времени, его не хватает, и куда-то (может, на несущественное собрание, общественное деяние) поспеваешь, куда-то (может, на существенное) не поспеваешь. Выступать же приходится едва не каждый день, иногда и дважды-трижды на день.

И не раз в часы многообразной суеты, потери дарованного тебе Богом времени вспомнится Монтень: «Самая великая вещь в мире — уметь принадлежать себе».

И все же, сколь ни омрачают твоё бытие житейские и служебные утяги времени не на главное, ты не можешь не видеть благодатных солнца, дождя и снега, ты радуешься весеннему цветению природы, осеннему ее увяданию — а главное, религиозным слогом изъясняясь, чувствуешь и зришь Свет Невечерний.

БУНИНСКАЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ВОРОНЕЖЕ

В пасмурный сентябрьский день 1977 года в Воронеже на четырехэтажном брусом общежития монтажного техникума появилась мемориальная доска, посвященная уроженцу города, первому русскому Нобелевскому лауреату в области литературы Ивану Алексеевичу Бунину. В Орле уже есть бунинский музей, а у нас... сдернуто белое покрывало... и читай: «На этом месте стоял дом, в котором родился и жил известный русский писатель И.А. Бунин». Присутствуют не только привлеченная (и едва ли бунинскими страницами увлеченная) молодежь, но и серьезные писатели: Кораблинов, Троепольский, Люфанов, Абрамов, Попов, вузовские преподаватели: Лепешинская, Свительский, Ласунский, Кузнецов... Не знаю, всем ли, но мне было неловко видеть это культурное действо. Нелепый эпитет — «известный»; еще куда ни шло — выдающийся, великий, знаменитый, еще лучше просто: русский писатель. Но не это самое грустное.

Интеллигентного вида старик, сокрушаясь, сетовал на документальную неправду доски: дескать, на этом месте гудел кабак, а дом, в котором Бунин родился, — рядом, двухэтажный, с флигелем. Мы познакомились. Оказалось, что он, Владимир Сергеевич Петровский, сын депутата Третьей Государственной Думы, живет в флигеле двухэтажного дома. У него редкое собрание картин, фарфора, предметов старины. Открыватели доски напросились во флигель, дивились старинным, царственным богатствам бедных комнатух, а один из вошедших, наиболее увенчанный государственными и общественными лаврами, даже предложил щедро выкупить понравившийся ему столик. «Здесь ничто не продается! Все будет передано в дар городу», — последовал ответ. Через двор мы прошли в старый сад с беседкой, весь в яблонях, цветах и сирени, и маленький тихий уголок зелени, недалекий от многошумной улицы, не мог не навеять некое бунинское настроение и мысль о том, что именно здесь и должно быть музеем автора «Жизни Арсеньева».

(Позже, когда литературная общественность изберет меня председателем Бунинского межрегионального комитета, придется на разных властных этажах и на форумах общественности в жанре письменных и устных ходатайств, просьб и споров хлопотать и за музей, и за памятник, и за иное увековечение

большого имени. Появится и памятник, и мемориальная доска Бунину, теперь уже на доме, где он родился; правда, памятник работы скульптора Клыкова, с которым у меня была договоренность, из-за воронежской медлительности перехватит Орел, а в Воронеже установят памятник работы скульптора Бурганова. Выйдет моя небольшая книга «Отчий край Ивана Бунина» с обращением к властям и общественности — создать в Черноземном крае бунинский литературно-этнографический заповедник.

Вскоре появится мемориальная доска и Сергею Антоновичу Петровскому, депутату Государственной Думы Российской империи. Во флигеле расположится журнал «Подъём». И только во втором десятилетии века двадцать первого «улыба доползет» до обустройства здесь музея Ивана Алексеевича Бунина.)

НА РОДИНЕ СТАНКЕВИЧА, ФИЛОСОФА И ПОЭТА

Сентябрь 1977 года. В **Алексеевку** — прежде Воронежской губернии, ныне Белгородской области — приехал поездом и глубокой ночью. Темень, разве что пятна электрического света: крупный эфирно-масличный комбинат. Утром — главная площадь, на площади — доска памяти и почета, имена известные: философ Николай Владимирович Станкевич, создатель подсолнечного маслодельного станка Даниил Семенович Бокарев, историк и большевистский публицист Михаил Степанович Ольминский (Александров), при имени которого я без улыбки не мог не вспомнить полдюжины красных дипломов имени Ольминского, коими был отмечен за журналистские труды в разных жанрах — в «Молодом коммунаре» и позже.

Заморосил нудный осенний дождь, и уже нельзя было проехать к могиле Станкевича иначе как на «газике»; мы поехали с редактором Алексеевской районной газеты «Заря» Анатолием Кряженковым, который многое делает, чтобы вызвать из порухи местное историко-культурное наследие. Миновав Мухоудеревку (раньше были разные деревеньки — Муховка и Удеревка), через луг, мимо ближнего Чесношного, поднялись вверх, на меловые кручи, где сейчас — колхозная ферма, а раньше располагалась усадьба отца Станкевича (сербского рода). Жалкое напоминание о ней — остатки сада, две скрещенные липовые аллеи. Но радует вновь насаженный сад.

А семейное кладбище — островок зелени, невдалеке от меловых круч, по которым тосковал молодой мыслитель и поэт, находясь за границей. Кладбище чуть поухоженнее, чем когда я впервые и отрывочно побывал здесь в бытность журналистской службы в «Молодом коммунаре». Появились железная ограда, деревянные воротца и надпись: «Семейное кладбище Станкевичей». Желтовато-зеленые акации, тонкий клен, черный мраморный брус, черная плита... Прежде на кладбище миротворно светились церковки-часовенки, но поруганы и развалены в раннебольшевистские времена. Тогда же и могилы были разрыты, скорбный уголок предан скверне.

Вдруг подумал, что колы «слезинка ребенка» — неизгнимое из мира, то и весь мир грешен и вне побеждающего добра. У неженатого и бездетного Станкевича в одном из поздних писем тоже есть признание, что на некоторые философские вопросы и сомнения знакомых ему трудно отвечать: существования одного голодно-го нищего ребенка довольно... чтоб разрушить гармонию природы.

В **Мухоудеревке** — встреча с учителями и учащимися. У школы — бюст Станкевича, скоро должный быть установленным. Работа молодого скульптора Дмитрия Горина.

Приехав в **Белгород** для встречи с местными писателями по тематическому издательскому проспекту, я и со скульптором познакомился, побывав в его под-

вальной мастерской, избыточно переполненной гипсовыми заготовками; судя по увиденному и рассказанному им, художник он небесталанный.

А истинный, большой талант, живущий в Белгороде, — художник-график Станислав Косенков, мы с ним сошлись ранее, при подготовке одной из подарочных книг.

ПОДМОСКОВНЫЕ ПЕНАТЫ

Один из дней очередной московской командировки — **Подольск**. Давно надо было здесь побывать, засесть на недели полторы в архиве Министерства обороны, чтобы изучить дело отца Виктора Ильича Будакова, в сорок пятом за штурм имперской рейхсканцелярии представленному к званию Героя Советского Союза. Наградной лист уже был подписан полковым, дивизионным, корпусным начальством, но застрял где-то в недрах канцелярии Пятой Ударной армии, в которой воевал отец, из-за гибели на мотоцикле командарма Берзарина, после Победы — коменданта Берлина.

МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ

Апрель 1978 года — **Москва**. Полдня промыкался в камере хранения на Казанском, хотя можно было не делать этого времяубийства — ожидания освободившейся ячейки в длинной, как за импортной обувью, очереди: столичных гостеприимных уголков — дюжина, в последнее время останавливаюсь у Ивана Ивановича Акулова, живущего у метро «Юго-Западная».

Побывали с Иваном Ивановичем на его даче близ Загорска (Сергиева Посада). Тихий, скромный, подмосковный уголок с уже близкими многоэтажными новостройками. Хороша Москва, даже многое потерявшая от старинного своего облика, но жалко, если зеленое Подмосковье превратится в новоявленную Москву, в мегаполис без границ, своими тяжелыми бетонами тесня подмосковные леса.

На другой день — в гостях Валерии Дмитриевны Пришвиной в Лаврушинском переулке. Разговоры допоздна — о русской жизни прошлого века, об отечественной классике, о великом уроне, нанесенном России Первой мировой войной и революцией. Когда заговорили о вере, она начала иронически: «У кого какая вера: буддизм, иудаизм, православие, мусульманство... А вот у моей знакомой из писательской среды вся вера — бег трусцой. Представляете — старухе за семьдесят, а она каждое утро и каждый вечер трусцой по парку трясет одряблыми чреслами. А если всерьез о православии — что без православия Достоевский, Толстой, тот же Пришвин?» Спорно, а Толстой — так и вовсе: он если и церковь — то в самом себе... И до полуночи душевно — с Лилей и пылкой Яной о судьбах разделенного мира, человека и человечества.

У сына Новикова-Прибоя, Игоря Алексеевича Новикова, — долгий разговор о рассказах отца, могущих войти в сборник в книжной серии «Отчий край». По слову сына, предисловие мог бы написать Лидин, но стар, дряхл (*вскоре я навещу его на Старом Арбате, надеясь побольше узнать о его встречах со Стефаном Цвейгом*). Может написать, продолжил сын, Григорий Александрович Ершов. Встретился я и с последним, впечатление после беседы: едва ли он напишет хорошее предисловие к Новикову-Прибою. Собственные книги есть, редакторская практика есть, знание литературных закулис — богатое: он работает в аппарате Союза писателей СССР, это он написал сотни поздравлений и некрологов; но предисловие — все-таки жанр особенный, достаточно чуткий на неверное слово, пишущего нередко подстерегают неудачи.

В доме на окраине Москвы — доброприветливая встреча на квартире у дочери писателя и общественного деятеля большевистской направленности Александра Константиновича Воронского.

Штрихи из рассказа Галины Александровны. Отец Воронского — из священников Кирсановского уезда Тамбовской губернии, и сын — достойный талант, не живший вне совести и чести. Из настоящих большевиков — не крушителей, а созидателей. Запомнилось: наезжая в Горки к больному Ленину, отец однажды взял и дочь, и как она удивилась, когда подали на обед курицу с рисом: она по-детски думала, что вождь ест что-нибудь необыкновенное. Галина Александровна, родившаяся в первый год Первой мировой войны, не забыла, как много в их доме собиралось видных деятелей культуры, выдающихся писателей (он возглавлял журнал «Красная новь», это он напечатал «опасную», угадываемую «Повесть непогашенной луны» и иное, что стало широко известным), а когда отца арестовали — многие поспешили забыть гостеприимный дом, и всякая хула и напраслина литературных собраний стала пачкать доброе имя.

Одни в своих писаниях утверждали, что Воронский косвенно повинен в исходе Маяковского, хотя он первым почувствовал метания поэта, другие полоскали слухи, что он спаивал Есенина, хотя отец выступал в его защиту, когда любое слово о поэте грозило неприятностями; это ныне стало непреложным ничего не критиковать из Есенина, даже посредственное, а тогда немалое мужество требовалось сказать защитное слово. То исключаемый из партии, то принимаемый, то вновь изгоняемый, он чувствовал близкий арест, но продолжал работать над большим биографическим повествованием «За живой и мертвой водой». Арест, даже предчувствуемый, — всегда неожиданность. Ожидаемая неожиданность.

«Поздно возвращаемся с мамой из кино в театре “Ударник” — невдалеке от Дома правительства. Видим — в окне горит яркий свет, а отец яркого света не выносил, работал только при настольной лампе. Заходим в квартиру — все вверх дном: идет обыск. Взяли отца, взяли и огромный мешок с рукописями, книгами, письмами».

Сколько таких «умных» мешков с поистине бесценными записями о той эпохе, о выдающихся именах, об историческом движении человечества было выхвачено из сердец и квартир, сколько затерялось в ведомственных бумажных недрах, сколько вовсе пропало на огнях и ветрах!

«Я училась на последнем курсе литературного университета имени Алексея Максимовича Горького. Дважды на комсомольском собрании от меня требовали, чтобы я отреклась от отца. Особенно яростно настаивали на этом Евгений Долматовский, Екатерина Шевелева, Маргарита Алигер. Не отреклась. В самом конце июня тридцать седьмого меня отправляли на Колыму, и к наполненному несчастными, стоявшему на глухих путях составу никто никого не пришел провожать. Одна только моя мама: она узнала место и час отправки от друзей Марии Ильиничны Ульяновой и Надежды Константиновны Крупской, которые в свою очередь обратились к возглавлявшей Красный Крест Пешковой. Это была наша последняя встреча с мамой. Везли нас месяц. Всякого народу понасмотрелась — и уголовных, и политических, и просто несчастных, без вины утянутых в тяжелый край. В тот день, когда ссыльный состав отправлялся из Москвы на Колыму, в нашем университете гудел речами, стихами, музыкой и танцами выпускной вечер. Но мне на долгие годы предстояла иная, не литературная жизнь».

Но почему Воронского занимал Гоголь, но почему он занимал его более других? Так — что написал о нем рукопись, у которой, как и у автора, невеселая судьба: была потеряна, позже найдена, а еще позже, уже напечатанная, вокниженная, пущена под нож.

При скорой встрече с Владимиром Гусевым — разговор именно о Воронежском, еще о Полонском, Ольминском, Воровском, Лебедеве-Полянском и иных, разных по уровню и по судьбе, из тех, кто не избежал и революционных течений, и литературно-критических увлечений.

В ВОРОНЕЖЕ, НА УЛИЦЕ КОМИССАРЖЕВСКОЙ

Всякий раз, бывая на дому у Владимира Александровича Кораблинова на улице Комиссаржевской (а бывал десятки раз), убеждаюсь, какая богатая у него культурная традиция, как много он видел, читал, с какими интересными людьми встречался. На этот раз вдруг затеялось взаимно дополняющее собеседование об Александре Воронском, с дочерью которого я познакомился в день последней поездки в Москву.

«Я встречался с Воронским всего раз (это было, кажется, в году двадцать седьмом), привез тогда стихи в “Красную новь” — журнал, им редактируемый. Воронский внешне был похож на старого интеллигента. Чесучовый пиджак. Бросались в глаза давно неглаженные брюки. Он держался просто, сидел за столом не как чиновник. Принял приветливо, но словно что-то неотгонило заботило его». (Перед этим был конфискован номер «Красной нови», в которой была напечатана «Повесть непогашенной луны» Пильняка, где в образе некоего в скрипучих сапогах угадывался вождь, и волны от опубликованной повести, видать, не давали редактору спокойного сна.)

Говорили также о Маяковском, Есенине, Платонове, Шолохове, Твардовском — своеобразная переключка то понимающих, то не понимающих друг друга позиций, столичной и провинциальной. Так называемое провинциальное бытие, чувствование и понимание нередко глубже столичного. Многое, разумеется, зависит от дома и имени в провинции.

Дом Владимира Александровича — истинно университет и оазис для души. Сюда и прежде наведывались Стукалин, Домогацких, Сидельников, Ющенко, Абрамов, Песков, Гончаров, Прасолов, Титаренко, Дубровин, Ласунский, Никулин, Ефремов, Белокрылов... Большая квартира, неизменное радушие семьи, и не каждый проходящий знает о драме ее (а если знает — только внешне), начиная с большевистско-комсомольского изгона из Углянской церкви священника о. Александра Кораблинова — отца Владимира Александровича, а далее высылки будущего писателя в Сибирь, довоенного и послевоенного запрещения жить в Воронеже, отсидки в тюрьме за пустяковое дело старшего сына Андрея, физических и душевных страданий Марьи Михайловны — беззаветной жены и матери.

ПОЕЗДКА В СТАНИЦУ ВЕШЕНСКАЯ

В одну неделю — географический и душевный охват от есенинского села Константиново до шолоховской станицы Вешенская. Поездка на двух «Волгах» вместе с инженерами-конструкторами Нововоронежской АЭС — опытными, но безличными, водителями, героями и соавторами книги «От тихого Дона — до Тихого океана». К часу ночи прибыли в станицу **Базки**, долго пегляли в поисках паромной переправы; у громадного элеватора-монолита на крутом спуске к Дону, у элеваторных ворот на наш сигнал выбежали три заспанные казачки, всплеснув руками: «Чьи ж это такие шумные?» Мы попросили указать дорогу к весенней паромной пристани. Она оказалась совсем близкой. У берега догорал костер — в кругу согрелись несколько человек. «Здравствуйте, казаки!» — поприветствовали их и спросили, долго ли ждут парома. «Часа три ждем, да и вам ждать не

меньше. На заре придет». Но паром возникнул скоро, в ночной вербной тьме светя желто-зелеными глазами. Скоро он уже правился к Вешенской — версты две разливной воды, впереди и позади — темные угадываемые берега. Холодный сырой ветер пронизывал окрестное насквозь. Не выдержав его ледяной пронизи, я, еще недавно тяжело простуженный, сел на переднее сиденье непродуваемой «Волги», а за стеклом, перед носом машины, соберясь в кружок, о чем-то оживленно беседовали, спорили, жестикулировали казаки; быть может, о чем-то значительном, событийно важном, историческом местном; и я все порывался выйти, но после затяжной простудной болезни меня снова знобило, и я не вышел на разговор и ветер, вдруг грустно подумав, что едва не вся моя жизнь проходит вот так — за стеклом!

Утренняя Вешенская. Чистая станица, в центре — подметенный сквер, площадь, церковь, через час узнаем, сохраненная благодаря заступничеству Михаила Александровича Шолохова, который будто бы сказал: «Пока я стою, церковь в Вешках будет стоять. Пока последние старики и старухи веруют, церковь не закроют». Уже за одно то, что церковь в станице не просто вздымается, но и принимает под свои своды верующих, вешенцы благодарны земляку, не только великому писателю, но и мужественному человеку, отстоявшему не только церковь, но и жизни многих верующих и не верующих. Ровные улицы, кое-где «курени» под камышовыми крышами. От кирпичной набережной, где ресторан «Дон», словно некий корабль, возносится над донским берегом, видно далеко и широко окрест: петляющий у Вешенской Дон с островами, станица Базки на кручовом правобережье, белая меловая проплешина на приречном косогоре, устремляющиеся к реке овраги.

С утра — в райкоме. Партийный секретарь Владимир Иванович Попов созванивается с секретарем писателя Михаилом Власовичем Коньшиным. Тот объясняет, что Шолохов болен и что ему не по силам принять депутацию в семь человек. Чуть позже он пришел в райком, коротко поговорил с нововоронежцами, и мы остались втроем. Я подал ему письмо к Шолохову с просьбой написать несколько предваряющих строк к сборнику афанасьевских сказок в книжной серии «Отчий край», подобных тем, какие он предпослал к сборнику русских пословиц, собранных Далем. Михаил Власович взял письмо, сказав, что оно может заинтересовать писателя; просил подождать до полудня, добавив: «Вас одного Михаил Александрович мог бы принять, будь чуть поздоровее». Часа через два мы вновь встретились, и он рассказал, что Шолохов долго читал письмо, но ничего не сказал, затем стал перелистывать переданный ему серийный сборник произведений Бунина, даже кое-что зачитывать, а напоследок об идее и выпуске книжной серии «Отчий край» выразился сочувственно, благожелательно. Затем писатель подписал мне две книги. Я бы и не стал беспокоить своим посещением больного классика, но с чувством большим, чем досада, подумал о том, сколько раз прежде мне выпадала возможность встретиться с автором «Тихого Дона», да все откладывал, теснимая неотложными делами, часто — пустяжными и зряшными.

Долго бродил по улицам станицы, затем вышел, минуя зеленый забор, за которым шолоховский двухэтажный дом, к берегу Дона. Из воды выглядывали полузатопленные вербы и лодки, у прибрежной кромки теснилась всяческая прибойная наплывь, быть может, ее принесло от самого Нижнего Карабута — моей малой родины: достигают же сюда, и даже до Азовского моря тамошние воды, пусть даже тихо-медленные, из далекого детства.

